

Маргарита СОСНИЦКАЯ

Московская область



ЛЕВ И МЕЧ, или Блеск и нищета российского Гарибальдийца

(Документальная повесть)

Предисловие

На полуострове Итальянской республики не существует городка, где именем героя двух миров Джузеппе Гарибальди не была бы названа улица, площадь или набережная. В составе его «Тысячи», а точнее 1086 краснорубашечников, сражались 35 иностранцев. Одним из них был гарибальдиец из Российской империи Лев Ильич Мечников (1838–1888).

Судьба этого потомка Николая Спотаря Милешту гораздо ярче судьбы его намного более знаменитого брата Ильи, Нобелевского лауреата по медицине (1908 г.). Он был многосторонне одаренным человеком: мастером изящной словесности, недурным рисовальщиком, незаурядным полиглотом; помимо ряда европейских языков, владел японским; был неутомимым путешественником и бесстрашным лейтенантом гарибальдийской «Тысячи», наконец, просветителем и крупным ученым, оставившим после себя труды, равные по объему почти двум романам «Война и мир», рассыпанные по страницам разных журналов своего времени, по архивам разных стран. Некоторые из сохранившихся рукописей, написанные с одинаковой лёгкостью как на русском, так и на французском языках, до сих пор не прочитаны. Сам же Мечников жаловался, что удастся опубликовать только треть работ.

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона

ему посвящена довольно обширная статья, а забвению он был предан после революции 1917 года, за приближение которой он так радел, и не столько предан забвению лично, сколько наука геополитика, объявленная вне закона вместе с кибернетикой и наследием Достоевского.

Заодно со Львом Мечниковым в СССР не существовала вся могучая русская школа геополитики XX века, начиная с А.Е. Вандама (Едрихина), П.Н. Савицкого, Н.С. Трубецкого и заканчивая Л.Н. Гумилёвым, получившим известность только под конец жизни. А ведь XIX век подвел под эту науку в России добротный фундамент, над которым потрудились Н.Я. Данилевский, В.П. Семенов-Тянь-Шанский, Д.И. Менделеев и еще добрая плеяда титанических личностей, мореходов, путешественников, в число которых входит и Лев Мечников. Сегодня его не забывает упомянуть ни один учебник по геополитике, называя не иначе как «родоначальником русской школы политической географии». А о своей гарибальдийской эпопее он поведал в «Записках», опубликованных в газете достославного Михаила Каткова «Русский вестник» в 1861 году.

Судьба свела Льва Ильича со многими историческими деятелями России и Европы, а жизнь порой напоминает романы «Овод» Этель Лилиан Войнич, «Дым» И.С. Тургенева или «Три мушкетера» Дюма-отца, с которым он был знаком.

Глава 1 Белый всадник

«Вам не видать таких сражений!..»

(М.Ю. Лермонтов)

Когда-то поля здесь были ухожены, посев сменился урожаем, а дом возвышался среди полей, точно их заботливый хозяин. Теперь дом был брошен, стены его потемнели и поросли травой, окна напоминали пустые глазницы черепа.

Пушечный снаряд ударил в одно из окон, сорвал полкрыши; из пробоины вырвался красный язык пламени, попробовал лес и поле, вошел во вкус. Часть дома устояла, и черти в красных рубахах, толкаясь и суетясь, начали кое-как перетаскивать туда раненых. Несчастные жутко кричали, стонали, сквернословили, впрочем, это были счастливики: кто-то уже валялся, подобно сваренному карасю, – сделал свое дело солнечный удар. Их командир, толстый капитан, бодрился, насколько то позволяли избыточные телеса, и пытался, как мог, поднять дух своих бойцов.

– А ну-ка шевелись, порко дьяволо (свинорылый дьявол)!.. Да не тащи ты этого беднягу! Его все равно уже черти в аду встречают!..

Из порохового тумана со стороны Капуи вылетел всадник в развевающемся белом плаще. Чуть ли не на ходу соскочив с коня, он зашагал к капитану, прихрамывая на одну ногу и вытирая лоб краем своего плаща.

«Принесла нелегкая!» – чертыхнулся в сердцах капитан, но громко прокричал в ответ на приветствие штабного:

– Здравия желаю! – И тут же жадно спросил: – Что там, в Сант-Анджело?

– Чертовщина какая-то! – выругался поручик на чистейшем итальянском. – Наш артиллерист, болван, уронил искру на пороховые запасы, и так ша-рахнуло по своим, что одному оторвало ногу, другому руку, а бурбонцы – хрена им в печенки! – решили, что начался обстрел, и открыли ответный огонь!

– И это в придачу к жаре! – ахнул капитан, промокая платком вспотевший лоб. – Градусов тридцать, не меньше. Скоро от жары сами возгораться начнем.

– Здесь у вас еще цветочки! Вдохнуть можно, птички расщелбетались. А на батарее за пулями собственного голоса не слышно!

– Да, dulce e decorum pro patria mori¹, – капитан спрятал в карман мокрый платок. – А сигары часом у вас не найдется?

– Отчего ж? – с готовностью ответил поручик, доставая портсигар.

При виде отборных тосканских капитан не удержался, расплылся в улыбке, предвкушая особое, одним заядлым курильщикам известное удовольствие: «У нас в Генуе таких нет», – но вдруг улыбка на его лице сменилась гримасой изумления: пуля поцеловала его между глаз, не оставив пяти минут на последнее желание смертника – покурить. Капитан тяжело обвалился на землю. Поручик бросился к нему, стал трясти за плечи, да опустил на траву, стащил с головы треуголку:

– Эх, и покурить напоследок не дали!

А пули свистели все ближе, сливались в сплошной гул. Не было числа потерям в рядах и гарибальдийцев, и бурбонцев, но подкрепления поступали только в ряды последних. Атака шла девятым валом. Королевские войска выбили засевших в полевом лазарете гарибальдийцев и подожгли его с четырех сторон. Из огня раздавались нечеловеческие крики. Поручик вскочил на коня и помчался по направлению к Капуе, не думая о том, что его плащ делает из него легкую мишень. По пути ему попадались местные мародеры, которые обшаривали убитых, а раненых добивали стилетом.

Ни на что, кроме своей ярости, гарибальдийцам рассчитывать не приходилось. В самых опасных точках появлялся рядовой Карлуччо, известный тем, что его обходили пули. Он шел им навстречу невозмутимо, будто это не кровопролитие, а променада на набережной, и воодушевлял примером батальоны гарибальдийцев. Им на помощь спешил эскадрон красных дьяволов (Diavoli Rossi), конных егерей из Палермо, и английский конный отряд генерала Данна, но все они – увы – прибудут к шапачному разбору. А пока роты тосканца Меланкини рубились налево и направо, как триста спартанцев. На смену им подоспел сицилийский батальон Томази, и снова:

*В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала.*

И люди в красных рубахах дрогнули, побежали под натиском королевских драгунов – существ драконов, от которых и пошло их название.

*...Сквозь дым летучий
Французы двинулись, как тучи.*

А их в этом сражении 1 октября 1860 года было до сорока тысяч. В сражении, ставшем роковым и для Карлуччо – осколок снаряда попал ему в грудь. Но он еще услышал, как по рядам отступавших прокатилось: «Гариба-а-альди! Гарибальди!» Ге-

рой двух миров появился как бог из машины, чем и воодушевил солдат на новый порыв.

– Alla baionetta! Viva l'Italia!**2

И все, кто еще держался на ногах, выбежали из батареи, несмотря ни на град пуль, ни на ядра, свиставшие и рассекавшие воздух по всем направлениям. Один Гарибальди оставался «как заколдованный, спокоен и невредим среди всеобщего оживления».

Всадник в белом плаще смотрел на «любимого вождя» восторженными глазами, как смотрят на Юпитера или на бога Марса, дарующего победу на поле брани. Он еще успел пожалеть, что при нем нет его верного блокнота, не то он тотчас набросал бы портрет этой живой легенды и истории. В следующий момент сноп искр ослепил белого всадника, чудовищный удар в подреберье сбросил его с седла, песок обжег, засыпал глаза; Юпитер, Марс, все поле и небо скрылись, пропали в кромешной непроглядной тьме.

Глава 2 Неведомый избранник

«Лежа в тряской таратайке в каком-то лихорадочном полусне, я видел чудные образы, которых, однако же, не буду предавать читателю, так как фантазия моя носилась очень далеко от совершавшихся тогда событий и от той жизни, которою я жил в то время».

(Л.И. Мечников)

По дороге, пролегающей между нивой и лесом, катилась легкая коляска с возницей на козлах. Если бы тогда, в первой половине XIX века, можно было взглянуть на землю с воздушного шара, то она представилась бы как сшитое из лоскутов одеяло: серые, самые большие лоскуты – степи, темно-зеленые – это лес, к ним прилегают аккуратные, солнечно-желтые лоскуты – пашни, снова степь да степь и вдруг атласные сине-голубые ленты, лоскутки прудов, озер, речек. А над ними крестиками парят в воздухе птицы. За их полетом следит из коляски пара пытливых мальчишеских глаз. Мальчик, точнее уже не мальчик, но и не муж, – отрок, подросток-малолетка вытаскивает из саквояжа бумагу и несколькими взмахами карандаша набрасывает пейзаж с птицами: вот кому воля; небось, их не поймали бы на полтавской дороге, по которой он пробивался в Валахию добывать трон. Нет же, его догнали, поймали, как щенка, приволокли и отцу сдали. А с вольностью птиц в этих местах может сравниться вольность только одного человека – Григория Сковороды,

сего малороссийского Сократа, не уложившегося в рамки формации своего времени. Да и для мудреца любые, даже самые почетные, рамки не что иное, как прокрустово ложе и утрата вольности. Мир ловил его, да не поймал. Исходил Сковорода с дорожным посохом в руке вдоль и поперек эту землю, от славянского Святогорья до матери – или отца? – городов русских, Киева, а

Земля, по которой ступала

Босая нога святого, –

Благоуханней фиалок

И приют Бога.

На рисунок своего вундеркинда смотрит через плечо отец, Илья Иванович, голубоглазый барин со светло-русыми волнистыми волосами, хмурится, сдерживает вздох. Он ездил на станцию в Купянск забирать беглого отпрыска, вздумавшего повоевать. Мир ловил его и поймал... Романтика – удел молодых, но куда ему воевать? Правая нога у мальчишки короче левой, да и душа непонятно в чем держится. А туда же, в байронизм: умирать за свободу. Впрочем, Байрон тоже был хромоножка.

– Ну, ответь мне, Лева, зачем ты это сделал?

Парнишка вспыхнул до корней волос:

– Вы же сами рассказывали, папенька, о наших правах на румынский престол! Кто-то же из нас должен ими воспользоваться! А я, о-о! я знаю, как навести порядок на земле. Только бы меня все слушались. А для этого нужно быть государем!

Илья Иванович покачал головой:

– Да, вот он, голос предков. Ты – второй Николай Спафарь, – добавил он с иронией. – Или Николай Спафарь II.

– Какой второй?! – взвился непокорный отпрыск. – Я сам по себе! И никакой не второй. Я у себя первый и единственный! Государь – спафарь – пахарь. Только вот отчего у греческого «спафарь» чисто русский суффикс – арь?!

– Да, да, сам, – не стал спорить с ним и углубляться в дебри мудрый родитель. – Все ты сам, и не было теста, из которого тебя испекли. Сам испекся, – и замолчал до конца пути.

Илья Иванович, отставной военный и хозяин сёл Ивановка и Панасовка, был живой легендой. Он принадлежал к древнему, по некоторым источникам, румынскому, на самом же деле молдавскому роду. В хронике молдавского летописца Ивана Никулсеа говорится о Николае Спотаре Милешту, которого помнит культура Молдавии, Греции и немножко России и Китая.

Родился он в Молдове в 1625 году, науки постигал в бывшей столице Византии, из языков изучал греческий, турецкий и разные древние, а еще богословие (теологию), историю и философию. За-

тем отправился в Италию, где посвятил себя точным и естественным наукам. Вернулся на родину уже солидным ученым и занял место не где-нибудь, а при дворе ее господаря. Господари, однако, сменяли один другого, а мудрец оставался незаменимым на протяжении многих лет. Пока его не втянули в придворно-политические интриги, стоившие ему кончика носа, который отрубили, вероятно, в знак того, чтобы не совал свой нос в чужие дела. Какой урок философу и мудрецу! После этого он был вынужден скрываться в Германии, но долго не выдерживает без милой Молдовы, вернулся, но тут его не ждали. Оскорбленному чувству находится уголок в сколь огромной, столь и великодушной России. Потом Николая Милешту, человека обширной космополитической культуры, берут в дипломатическое представительство при царе Алексее Михайловиче на должность драгоман-толмача, переводчика. Примерно к тому периоду относится упоминание А.Н. Афанасьева о Спафарии в «Поэтических воззрениях славян на природу», ни много ни мало, как в «Процессах о колдунах и ведьмах». Речь идет об осуждениях по извету на боярина Артамона Сергеевича Матвеева, любимца тогда уже покойного государя Федора Алексеевича. «Враги не могли придумать лучшего средства для отдаления Матвеева и правительства, как обвинив его в чародействе. Это тем легче было исполнить, что боярин Артамон Сергеевич любил сблизиться с иноземцами и ценил научные знания; десятилетний сын его, Андрей, учился языкам греческому и латинскому под руководством переводчика посольского приказа Спафария; а в тот век достаточно было иметь при себе какую-нибудь иностранную книгу и медицинские пособия, чтобы возбудить подозрения в волшебстве».

Веселенькая была атмосфера, в которой жили и работали учёные и жаждущие знаний вольные исследователи. «Вследствие подговора Давыдко Берлов, лекарь, и Карло Захарка, проживавший в доме Матвеева, донесли на него, будто он вместе с доктором Стефаном и переводчиком Спафарием, запершись в палате, читали черную книгу, и в то время явилось к ним множество духов. По этому доносу Матвеев был сослан в Пустозерский острог; боярство у него отнято, а имения отобраны в казну». Вероятно, дабы отвести беду от других подозреваемых по оговору, «князь Василий Васильевич Голицын послал в Китай с некой миссией переводчика Спафария, – как гласит «История Российской почты. 300 лет Московскому почтамту» А.В. Гудзь-Маркова. – После двух лет странствий по просторам Сибири Спафарий возвратился в Москву и уверил Голицына в том, что в Сибири

можно строить дорогу, подобную большим дорогам Европейской России. И могущественный в правление царицы Софии кн. Голицын предпринял меры к обустройству сибирской дороги от Москвы к Тобольску»³. Вскоре у Спафария появляется ещё одна возможность влиять на судьбы всей Руси, и весьма своеобразным способом: он становится наставником царевича Петра и обучает его грамоте, учит разбирать литеры:

«Истинный клад есть древняя Буквица. Состоит она из семижды семи литер. У каждой свое имя, чин, титул, число. Буквица – великий клад математики, истории, письменности, мудрости. Первая буквица – Азь, глаголит: Азь есмь ас или же бог. А вот Арь, тридцать восьмая по порядку, – значит множество в единице: кто знахарь, у того и предки были знахари, а в сей час он один их всех представляет».

Вне сомнения, краеугольный камень в формирование будущего реформатора и первого императора России, круто повернувшего бразды правления Московского царства в европейскую сторону, заложил этот космополит из Молдовы. И именно в его уроках надо искать корень очередной реформы азбуки – 1711 года, когда Петр I собственноручно вычеркивал ненужные, на его взгляд, буквы из алфавита, оставив их общим числом тридцать восемь.

Дальнейший путь Николая Спотаря был не менее витиеватый, чем предыдущий: он добрался до Поднебесной. И самым лучшим памятником ему стал памятник нерукотворный: краткая справка в энциклопедии Брокгауза и Ефрона от 1896 года, сообщающая, что «Мечниковы – дворянский род, происходящий от молдавского боярина и спафария (мечника)⁴ Юрия Степановича, выехавшего в Россию в 1711 г. с кн. Кантемиром и получившего большие имения от Петра I. Его сын принял фамилию Мечникова. Род Мечниковых внесен в VI и III части родословных книг Харьковской губернии».

Этот боярин и был прямым предком Ильи Ивановича и всех его детей, Вани, Левы, Кати, Коли и только что родившегося Илюши.

* * *

Наконец на пригорке показался двухэтажный дом с двумя подъездами и балконом, откуда по лестнице можно спуститься в сад, полный цветов, яблонь, вишен и груш. Дом и сад, как в зеркале, отражаются в чистом пруду, который платит оброк карасями и дает водицы для орошения огорода, посаженного на берегу. Огород – неиссякаемый кладёзь добра: какие важные помидоры наливаются на нем, а какая сочная капуста,

картошка рассыпчатая, душистый укроп – без них немислим толковый красный борщ, а без борща – приличный обед. А если учесть, что плодородный слой чернозема в южных губерниях России самый тучный на планете – толщиной в метр, – то легко понять, что фруктов, равных по вкусу панасовским медовым грушам, наливным яблокам, не найти на земле.

Другое сокровище мечниковского поместья – винокурный завод, недавно выстроенный руками крепостных. Да вот и они сами, скидывают шапку перед барской коляской, подкатывающей к воротам, толпятся на ступеньках: Авдотья Максимовна, лакей Петрушка, лихой табунщик Матюшка по прозвищу Орел, казачок, повар, золотшвейка – все вышли встретить неугомонного барчука, напугавшего до смерти родителей, особенно Эмилию Львовну.

Львенок неохотно спрыгнул с родительского тарантаса.

Какое наказание ему придумают за побег? А с другой стороны, он такой хилый, болезненный, что как его наказывать? Да и возраст переломный, неустойчивый. А при его сангвиническом темпераменте, подвижном, непоседливом – совсем беда. Не паренек, а живая ртуть. И весь в мать. В Эмилию Львовну. В ее масть. Да и все дети в нее.

А вот и Эмилия Львовна спускается по ступенькам; Илья Иванович с облегчением вздыхает: когда он уезжал в Купянск, она в припадке лежала в постели с компрессом на лбу. Эмилия Львовна обнимает блудного сына и супруга, хватящегося за сердце. Когда-то ради нее он бросил военную карьеру. Да и могло ли быть иначе?

Впервые он увидел свою Эмилию, будучи поручиком лейб-гвардии Уланского полка на придворном балу. Том самом, на котором царь поэтов Александр Пушкин обратился к ней со словами, вошедшими в историческую хронику семейства:

– Вам так идет ваше имя, мадемуазель.

Сказаны они были по-французски: «Que vous portez bien votre nom, mademoiselle».

Ее черные, как египетская ночь, глаза вспыхнули, и она поправила черные волнистые локоны, не менее черные и волнистые, чем у поэта. Локоны, которые унаследует его дочь Мария Гартунг, а Лев Николаевич Толстой спишет с нее портрет Анны Карениной. Достанутся такие локоны и всем отпрыскам смутившейся красавицы Эмилии Невахович, а старший ее сын Иван Ильич станет прототипом героя другого сочинения Льва Толстого – «Смерть Ивана Ильича», известного не менее «Анны Карениной».

Эмилия была любимой дочерью Льва Невахови-

ча, еврейского откупщика табака из Варшавы. При императоре Александре I Лев Невахович принял лютеранство и лютеранами воспитывал своих детей. Однажды на вечернем спектакле Варшавского театра к нему подошел человек в черном и шепнул, что на его дом готовится покушение. Шел 1830 год, назревало злополучное польское восстание, стоившее Польше конституции.

Неваховичу не надо было повторять. Вернувшись из театра, он собрал в баул самое ценное, посадил в карету жену и детей, и кони-звери понесли их в Северную столицу Российской империи.

Табаком он больше не торговал: состояние к тому времени он уже сколотил приличное, что и позволило ему посвятить себя переводам немецких философов и созданию альбома карикатур «Ерлаш»⁵. Это открыло ему двери литературных салонов, где бывали такие светила, как Александр Сергеевич Пушкин, Иван Андреевич Крылов, и приобщило к миру изящной словесности.

Таким образом, обращаясь на балу к дочери Льва Неваховича, Пушкин обращался не к незнакомке. Брат ее служил гвардейским офицером вместе с Ильей Ивановичем Мечниковым. В доме Эмилию звали Милочкой и любили за чуткость, живой ум и чудные, темные, немного жертвенные, как это обычно бывает у сестер Суламифи, глаза.

После свадьбы Эмилия Львовна и Илья Иванович несколько лет, пока позволяло состояние, жили на берегах Невы; здесь родились сыновья Иван – в честь деда по отцу, и Лев – в честь деда по матери. Как две капли воды оба брата были похожи на мать. Недаром у потомков древних латинян есть поговорка: *i maschi maternizzano* (мальчики в мать (ит.), а у иудеев национальность считается по матери. И в этом есть резон, обоснованный опять же древними римлянами: «*Mater semper est certa*» (мать всегда известна точно (лат.)).

Но, к своему удивлению, супруги, захваченные вихрем балов и раутов, в один прекрасный день обнаружили, что табачное приданое имеет свойство развеиваться, как дым сигарет, на которых оно было сколочено. Пришлось вспомнить о родовом имении Ильи Ивановича, затерявшемся на юго-востоке империи в Харьковской губернии «очень глухого» Купянского уезда. «Некоторые из тамошних жителей уверяли, будто, дойдя до их уезда, почта не шла уже дальше: некуда было. Не то чтобы свет кончался за этим уездом: но за ним начинался такой свет, с которым почте ровно нечего было и делать». Одно утешение – климат там мягче и теплее, чем на сквозняках Финского залива.

Ваня и Лев были оставлены на учебу в Петербурге, а Илья Иванович с их младшей сестрой, ма-

терью, своим братом Дмитрием Ивановичем и теткой жены отбыл на тучные малоросские хлеба и свежее сало в Ивановку.

Деревня с ее благодатным воздухом, свежими продуктами и мягким климатом подействовала на супругов так, что вскоре у них родился сын, названный Николаем, верно и бесспорно, в честь достославного Спотаря Милешту. Супруги решили, что сие – достойный финал в деле продолжения рода и долг свой перед предками они выполнили. Но Бог распорядился по-своему и 3 мая 1845 года послал им еще одного мальчика, названного теперь уж, когда весь арсенал имен предков был исчерпан, в честь отца Ильей. Он-то и принесет роду Мечниковых наибольшую – всемирную славу.

Так пролетели четыре года. Старый дом окончательно пришел в упадок. И решено было возводить новый, на другом конце Ивановки, именованной Панасовкой. А кто строители? Конечно, свои крепостные селяне, иными словами, рабы. Отношение к ним со стороны хозяев вполне сносное, если не считать, что девок за иную провинность таскали за косы и били по щекам, сама Эмилия Львовна не гнушалась собственноручно приложиться; и Дмитрий Иванович, случалось, угощал лакея Петрушку зуботычиной за беспроветное пьянство.

Когда Лев видел эти сценки отсталого крепостничества, его трясло. Табунщик Матюха в ярких казацких шароварах или косарь – косая сажень в плечах – был ему ближе его петербургских кузенов, а им вдруг надавали по физиономии, будто какой сволочи. Тяжела на руку была его мать, Эмилия Львовна. Будь у кого-нибудь из ее сыновей дар И.С. Тургенева, «Муму» в русской литературе прибавилось бы. Лева воспринимал рукоприкладство родительницы по отношению к прислуге как личное оскорбление и жестоко страдал от того, что не может восстановить справедливость.

Старшенькие – Ваня, а за ним, в 1850 году, и Лев поступили в Училище правоведения в Северной Пальмире, по которой неизлечимо тосковали их родители, как тоскуют люди по молодости. Но в училище Лев проучился недолго. Зимой 1851 года пришла весть от доктора, что у Льва началось воспаление тазобедренного сустава – коксит, и надо срочно забирать его из Петербурга. Климат при воспалении костей там опасен. Как видно, не только А. С. Пушкин имел все основания сказать: «Но вреден Север для меня».

Дядя Дмитрий Иванович, обрядившись в медвежью шубу, безотлагательно отправился на перекладных за больным племянником.

Костыли мальчик скоро оставит в Панасовке насовсем, но хромота не оставит его до конца дней. Панасовка – не Петербург – станет для него альма-матер. Сюда был приглашен учителем студент-медик по фамилии Ходунов, так как Лев по состоянию здоровья больше не мог учиться в Петербурге. Ходунов проникся к одаренному мальчику и стал вкладывать в занятия с ним не только знания, но и душу. Он мог часами слушать, как тот вдохновенно читал ему «Вечера на хуторе близ Диканьки». Водил в походы по окрестным местам, жег с ним костры на Осколе, пояснял, где какая трава, в чем ее свойства, где какая птица или зверь водятся. Но ученик был рассеян, казалось, его более занимала топография края, чем биология. И он вообще очень сильно разбрасывался: то хватался за рисование, то за анатомию, то за какой-нибудь иностранный язык, то вдруг его поглощала математика. Другое дело его младший брат восьмилетний Илюша. Он выучил назубок все, что касалось панасовской флоры и фауны, а когда родители брали его с собой в достославный город Харьков, на все карманные деньги накопил книг по естественным наукам. Лева же естествознанию предпочитал упоительные повести Николая Гоголя: тем паче до Диканьки, то бишь Яресек, где родился загадочный сочинитель, от Панасовки рукой подать! А ходуновские уроки будущему гарибальдийцу, выходит, пошли не на пользу, а на шалость. Изучив дороги, он бежал в Валахию. Да задержали его, как шведа, – под Полтавой и привезли на телеге в Купянск...

* * *

Колеса скрипели, будто их не смазывали три года. Лев застонал, и сквозь тяжелый сон до его слуха донеслись стоны и крики. Он открыл глаза и увидел в прорехе на крыше незнакомого фургона безоблачное синее небо. «А где же маменька? – не понял. – Да и откуда в Панасовке запах пороха?»

Он повернул голову и увидел возле себя солдата, сидевшего с опущенной головой, залитой кровью, и сложенными на голой груди руками, на которых были оборваны ногти. «Италия, – дошло, – Вольтурно, «Тысяча» Гарибальди», – и образ Панасовки со всеми ее обитателями растаял в воздухе.

Глава 3 Вкус славы

«Я знал, что постоянная близость смерти, вид убитых, раненых, умирающих, повешенных и расстрелянных... труп своей лошади и эти звуковые впечатления – набат, разрывы снарядов, свист пуль, отчаянные, неизвестно чьи крики, – все это никогда не приходит безнаказанно. Я знал, что безмолвное, почти бессознательное воспоминание о войне преследует большинство людей, которые прошли через нее, и в них есть что-то сломанное раз и навсегда».

(Г. Газданов)

Первое, что достигло сознания Льва, была тихая речь с отчаянным тосканским акцентом:

– Раненых в лазарете у станции перебили, гады, всех до последнего.

– Правда, гады! Нелюди! – прерывал ее чей-то громкий шепот. – Одно слово – бурбонцы!

– Хозяйке дома проломили голову, и врач исчез, как в воду канул.

Фургон подпрыгнул на выбоине, и раненый от удара головой о днище забылся. Очнулся от резкой боли в боку: два человека грубо перетаскивали его на носилки.

– О, *santo diavolone*⁶, – раздался выкрик почти у изголовья пострадавшего. – Неужели эта отбивная котлета – мой дражайший друг? Узнаю его кривую турецкую саблю! А ведь совсем недавно он нарисовал мой портрет и подарил мне на память, а я своей сеньере! Осторожней, кладите его на диван! Вот так! Да полегче, это же не мешок с сухофруктами!

Вся эта тирада принадлежала сицилийскому капитану Чезаре Паини. Он прежде был знаком с раненым и сживал с ним в кофейне за стаканчиком доброго чентоербе⁷. Капитан поспешил за доктором и фельдшером, чтобы те пришли осмотреть его приятеля.

– Пустяки, ранение от гранаты, – заключил доктор. – Вы еще на его свадьбе попляшете, – достал из коробки пузырек и влил его содержимое в рот раненому. Тот содрогнулся в конвульсии. – Что ж, стаканчик марсалы привел бы его в чувство, – так был предписанный доктором курс лечения.

Чезаре Паини разбился в лепешку, а раздобыл этот благословенный стакан. Действие напитка оказалось чудотворным: раненый пришел в чувство, его даже попытались поставить на ноги, но он свалился, как пустой мешок. Доктор велел вынести беднягу на свежий воздух.

– Тут будет лучше. А чем закончилось сражение? – задавал он по ходу вопросы. – Куда поско-

кал Гарибальди? – но раненый только мычал что-то бессвязное в ответ.

Лежа на воздухе, в тени раскидистого дерева, Лев Мечников постепенно приходил в себя. Фургоны все подвозили и подвозили раненых. Говорили, что французы вешали пленных на деревья и поджаривали живьем. Одному берсальеру выкололи глаза и заставили бежать к своим, стреляя в спину.

Позже перипетии, подобные мечниковским, прошла ещё одна наша соотечественница – Елена Ган-Блаватская. В 1867 г. она очутилась в Италии среди повстанцев Гарибальди. Полковник Олькотт, ее постоянный спутник во всех зарубежных поездках, писал: «Она сражалась вместе с Гарибальди в Ментане, в кровавом бою. Как доказательство она мне показала перелом левой руки в двух местах от ударов сабли и попросила прощупать в своем правом плече пулю от мушкета и еще другую пулю в ноге. Также показала мне рубец у самого сердца от раны, нанесенной стилетом... Мне иногда кажется, что никто из нас, ее коллег, вообще не знал действительную Елену Блаватскую, кажется, что мы имели дело только с искусно оживленным телом, настоящая ее душа была убита в битве под Ментаной, когда она получила эти пять ран и ее как умершую извлекли из канавы». Под Ментаной Блаватская прошла крещение, открывшее её третий глаз. Для Мечникова Ментаной был Вольтурно.

* * *

Сновоприбывшей партией искалеченных Льва Мечникова отправили в госпиталь в Казерте. Но на следующий день к городу подходили бурбонцы, и все, кто мог, приготовился защищаться. Лев Мечников с трудом сполз с кровати и сделал шаг, опираясь на стены и шкафы, – иначе на ногах было не удержаться. Ему зарядили пистолет: на худой конец, лучше пустить себе пулю в лоб, чем быть заживо поджаренным. В другую руку вложили тяжелую саблю. «Вот оно – Мечников и меч», – усмехнулся Лев, попытался поднять ее и не смог.

Из-под Казерты и от Маддалони едва волочились гарибальдийские стрелки. Сам диктатор обеих Сицилий был ранен, но вражеская атака была отбита.

На следующее утро началось новое наступление неприятеля. Поднялась суматоха и страшная паника. Измотанные солдаты неровными рядами двигались на линию сражения. Часть раненых из госпиталя на какой-то немыслимой бричке повезли на станцию для отправки в Неаполь. С ними трясся по мостовым Казерты и панасовский искалеченный приключений. Видок у него был, достойный

шерамыги (cher ami) под Смоленском: на голову поверх бинтов навьючен капюшон, на правую ногу надет старый башмак: сапог не налезал, а вместо рубахи, которой попросту не было, наброшена белая накидка. Хромоты его сейчас никто не замечал: все вокруг были хромы и изувечены, и впервые за последние семь лет после болезни кокситом Лев чувствовал себя нормальным, как все.

Пока раненные ждали поезда, их обступили шумною толпой аборигены, допытываясь, что там и как на передовой. Кто-то указал на Мечникова:

– Да вот же офицер из штаба Мильбица!

Толпа надела на него. Он стал рассказывать о том, как пушечным выстрелом человеку сорвало лицо, о заговоренном от пуль Карлуччо, вспомнил какого-то Аполлонио, с которым столкнулся под Капуей, помянул генуэзского капитана, не успевшего покурить напоследок, и так разволновался, что кровь хлынула ртом. Только тогда толпа поверила, что у него действительно нет сил, и оставила его в покое.

В поезде на Неаполь яблоку негде было упасть, а рядом гремели выстрелы. Но итальянцы все-таки отвели душу и отомстили в тот день французам за зверски убитых товарищей. Око за око, зуб за зуб. Не с тех ли пор эти два народа, французов и итальянцев, стали называть двоюродными братьями?

В Неаполе раненых, снятых с поезда, развозили по частным квартирам. Народ бежал за их таратайками с криками:

– Слава победителям при Вольтурно! Слава Гарибальди! Вива Италия!

Мечников смотрел на безавших, на их по-брейгелевски перекошенные физиономии и облизывал пересохшие губы: «Так вот какая ты, слава! Да, у славы вкус крови. Не зря Наполеон назвал тебя солнцем мертвых». Хотел улыбнуться, да лицо исказила боль.

Глава 4 Крещение Мельпомены

В нормальных условиях, медленно, но верно, дело пошло на поправку, хотя маленькую темную каморку, затерянную в лабиринте не самых богатых неаполитанских кварталов с вечно вывешенным из окон бельем, нормальными условиями можно назвать с большой натяжкой. Зато в этом домашнем лазарете никто не нарушал покоя Льва Ильича, наконец избавленного от душераздирающего зрелища чужих страданий, кроме разве что местного доктора, который требовал строгого соблюдения постельного режима. Ничто не беспо-

коило целительного сна отвоевавшегося гарибальдийца, и он спал целыми днями.

Пробуждался под вечер, пил чай, иногда перелистывал свой походный блокнот из плотной желтоватой бумаги с набросками и портретами, которые он делал в минуты затишья и на привалах. Лица и сцены вставали перед глазами как живые. Вот его добрый приятель Карлуччо, он рисовал его на отдыхе у костра. Тогда была возможность поработать не только пером или карандашом, но и акварелью. Вот вид Капуанской арки у Санта Лючия, где располагалась батарея и где он был так неудачно ранен. Страшная бойня воскресала в памяти с запахом пороха, пота, крови и раскатами пушек.

Однажды на закате, едва Лев Ильич очнулся от сумбурных сновидений, в его тесную комнату, по-итальянски – камеру, ввалился огромный детина, заполнивший собой и своею буркой все пространство.

– Вы – господин поручик? Вас жгли бурбонцы? – спросил он с неуклюжей вежливостью медведя.

Детина оказался посыльным от «мусье Дума» и пришел, чтобы забрать боевого гарибальдийца из его конуры в казенный дворец, в котором вождь революции предоставил «мусье» самые комфортабельные апартаменты.

– Доктор даже на улицу выходить не велит, – сокрушенно возражал больной.

– А что кушать изволите? – не унимался посыльный. – Велено снабжать вас горячими обедами.

– Очень благодарствую за хлопоты. Но питаюсь исключительно по предписанию доктора, и принимать предложение даже было бы во вред здоровью.

Детина топтался на месте:

– И в гости вы званы.

– Говорю же, доктор на улицу выходить не велит.

Пришлось посыльному удалиться ни с чем, оставив молодого панасовца в недоумении: чем же вызвано внимание прославленного романиста к его скромной особе?

А между тем Александр Дюма, пожертвовавший на вооружение гарибальдийцев пятьдесят тысяч франков, которые доставил в Геную на собственной шхуне, считал себя покровителем каждому, кто взял это оружие в руки.

Однако присутствие в Неаполе первого писателя и его дружба с первым вождем вызывали недовольство местного общества. Еще бы! Гарибальди передал ему свои дневники, назначил руководителем работ и директором музея в Помпее и Геракулануме, а независимой газете «*Independente*»⁸, которую Дюма стал выпускать, предположил короткую, но выразительную декларацию: «Газета, из-

даваемая другом моим Дюма под благородным названием, будет верна своему имени и восстанет против меня первого, если когда-либо я совращусь с дороги, которою шел твердо до сих пор. Гарибальди». Образец *sine ira et odio*⁹.

Любопытную точку зрения на русские беды высказывал на страницах своего независимого детища Александр Дюма, уже тогда усматривая в них географические причины: «Народы не виноваты, если они в рабстве. Свобода и рабство зависят от разных топографических условий, в которых они родились. Почему русские несвободны? Посмотрите границы их огромной территории.

Свобода – это Божий дух, а Божий дух, говорит Генезис, обитает на водах. Рабство везде там, где можно преодолеть огромные земные пространства, не спускаясь на воду. В Индии... Египте... в России, простирающейся от Каспия до Балтики...

Уже во времена Солона было замечено, что обитатели морских побережий самые независимые из людей. Пустыня и море – убежище от тирании».

Лев Ильич призадумался: какую роль играл этот уроженец морских берегов в неаполитанской революции?

Визиты его посланца повторялись. Он заходил, чтобы справиться о состоянии здоровья и снова передать приглашение нанести визит самому странному из французов, ополчившемуся на своих же, французов, в числе «Тысячи».

И Лев Ильич нарушил диктатуру доктора и стал выбираться на прогулки по свежему воздуху. В одну из таких «самоволок» он поймал извозчика и велел отвезти его во дворец Кьятамонте.

– О-го-го, – присвистнул извозчик, – никак синьор в гости к мушкетеру собрался!

– За что же вы его так не любите? – рассмеялся Лев Ильич.

Лошади тронули.

– Я? Я-то очень люблю! – извозчик оказался любителем поговорить. – Мне довелось подвозить однажды, он чаевые отвалил – дай бог ему таких же.

– А я слышал, его здесь не любят, – настаивал пассажир.

– Так то – господа. А женщины любят, очень любят! Он когда на «Эмме», ну, на шхуне своей, что в Марселе построил, плыл сюда, у него в каюте каждую ночь некий Адмирал ночевал. Длинноногий такой Адмирал.

– Адмирал?! – не понял Лев Ильич.

– Оказалась милашка, барышня, Эмилия. Ее на шхуне Адмиралом прозвали. Влюбилась она в отца мушкетеров еще девчонкой, а подросла, переделась матросом и записалась в команду. Ох уж

эти женщины! Если облюбовала тебя какая, пиши пропало!

– Откуда такие подробности?! – изумлялся пассажир, чем сильно и не бессознательно льстил своему вознице.

– Э-э! Да ведь я из портовой харчевни не вылажу. А из порта в порт чайка на хвосте вести приносит. И это еще не все!

– Давай, дьявол, выкладывай, коль уж раззадорил мое любопытство! – воскликнул пассажир полусерьезно.

– Синьор, сам не поверил бы, если б своими глазами не видел! Адмирал теперь брюхатый ходит! Вот-вот разродится!

Коляска остановилась у входа в сад перед дворцом Кьятамонте, казавшимся частью скалы, о каменные ребра которой разбивались морские волны. Вдали виднелся Везувий, сей немилосердный творец истории... и рабочих мест, а именно: управляющего по восстановлению того, что он, Везувий, разрушил, директора музея, зрителей и прочая. В белесой дымке где-то на кромке морской равнины прорисовывались очертания острова Капри.

* * *

«Я застал редактора «Independente» в саду, в павильоне за рабочим столиком. Он был в рубашке нараспашку, без сюртука и жилета, и писал с большим вниманием», – будет вспоминать Лев Ильич о своей встрече с Александром Дюма на закате бархатного осеннего дня над Неапольским заливом.

Дюма окружали: старик Бонуччи, бывший директор помпейских раскопок, сицилианец генерал Кариссими, занятый беседой с графом Арривабене, сотрудником английского Times'a, и шотландский полковник Данн. Готовился выпуск нового номера, посвященного битве при Вольтурно первого октября 1860 года.

– Какова была ваша основная задача при штабе? – спрашивал русского гарибальдийца неутомимый французский классик, основной жизненной задачей которого была охота за сюжетами. А где можно найти их более умопомрачительнее, чем в революции?

– Я обеспечивал подвоз боеприпасов на батарею, – хмуро отвечал русский гарибальдиец на хорошем французском.

– C'est formidable!¹⁰ – Дюма от удовольствия потирал руки. – Особенно, если принять во внимание, что за них заплачено моими франками. Я покупал, вы подвозили! Мы делали одно дело. Блестяще! Вот и пишите об этом!

Льву Ильичу подали бумагу, письменные принад-

лежности и несколько номеров журнала. Он просмотрел основные статьи («articoli di fondo»), чтобы проникнуться их стилем, отметил, что написаны они «с толком, ясно, отчетливо, без фантазий и разглагольствований, которых ожидали от автора «Монте-Кристо», и обмакнул перо в чернильнице.

– А Гарибальди вы видели в пылу сраженья? Гарибальди? – прервал бег его пера француз.

– О, да! – Лев Ильич вспомнил фигуру вождя на коне.

– Formidable! Изложите, s'il vous plait¹¹, свои впечатления.

Позднее Лев Ильич писал: «Дюма – француз с ног до головы, но не общий избитый тип парижанина... Желание рисоваться, играть роль, хотя бы и невыгодную, вот главная задача всей его жизни... Он пережил разные эпохи и постоянно добивался только того, чтобы произвести эффект, чем-нибудь отличиться. А потому он часто менял убеждения и для большего удобства привык не иметь никаких убеждений... В сущности, он был добрый малый, готовый поделиться с приятелями кошельком и советом, лишь бы только воздавали должную по его заслугам честь».

Гарибальди знал, кому отдавать свои записки и полную власть над ними. Литература – это особая сфера влияния на умы, она переживает и царства, и царей, как «Илиада» пережила Трои и царя Приама. Так почему бы герою двух миров не потягаться со славой трех мушкетеров? Газета прекрасно распродавалась, формировала общественное мнение в пользу революционеров, а ее главный редактор и почти единственный автор заодно трудился над книгой «Гарибальдийцы», что пустяки по сравнению с прошлыми достижениями, когда он за четыре года, 1844–1847, мог выдать на гора восемь романов. И каких! «Не человек, а сила природы», – восхищался им Мишле.

На момент заботы о Мечникове он попутно печатал в газете главы своего нового романа «Доктор Базилиус» и собирал истории о местных разбойниках. Фольклор – первоисточник и кладезь всех искусств. И, покровительствуя Дюма, Гарибальди покровительствовал музам.

А для молодого правдоискателя из Панасовки сотрудничество с «Independente» стало первой официальной пробой пера. К тому времени он уже опробовал карандаш, и небезрезультатно: его едкие карикатуры стали поводом увольнения из миссии Мансурова, «вешателя колоколов». Именно ради усовершенствования кисти и рисунка, начатого в классах Петербургской академии художеств, высадился Мечников на берегах Адриатики после увольнения из миссии, с которой отправил-

ся в плавание в сторону Афона, а вот к литературному труду впервые подошел вплотную.

Лев Ильич был широко образован, успел повидать мир, понюхать порошу, имел литературный вкус, воспитанный Гоголем, избранные любимые места из которого взалёб перечитывал когда-то своему домашнему учителю Ходунову, и вот теперь у него появился крестный – Дюма-отец, у которого было кое-что общее с другим Александром – Пушкиным. У обоих в роду имелись темнокожие предки, оба могли блеснуть донжуановским списком, пусть у Дюма он был в пять раз длиннее, чем у Пушкина, и женаты были оба только один раз, на Наталье и Маргарите, и оба составляли славу своей литературы. С Александром Пушкиным у Льва Ильича протягивалась личная связь через мать, Эмилию Львовну, помните комплимент на балу? А вот с Александром Дюма иллюзионистка-судьба свела его самого. И все это – благодаря разорвавшейся в двух шагах гранате.

Глава 5 Скарятинские миллионы

«Люблю богатых».
(М. Цветаева)

Местом траты своих миллионов Владимир Дмитриевич Скарятин выбрал пуп Европы – Флоренцию. К тому времени здесь уже обосновались уральский миллионщик Демидов, князь Бутурлин, строилась русская церковь. Да и немудрено: Флоренция тогда была столицей Италии.

Миллионы Скарятин, выходца из старинного дворянского рода, были не простые, а золотые – сколоченные на добыче благородного металла на золотых приисках Енисейска. Но предпринимательство Скарятиним уже было оставлено, как и пройдена служба во славу царя и отечества во флоте, он отложил шпагу и взялся за перо.

Сочетался браком с девушкой своего круга, которая и подарила ему в срок, а именно в 1856 году, прелестную дочурку. Теперь корабль его судьбы бросил якорь в итальянской Мекке для русских – Флоренции. Жизнь в ней кипела бурно: сюда спешили дипломатические посланники Государя императора с секретными депешами в его официальное представительство, и здесь же собирались первейшие враги монархии – чада матери порядка анархисты. Например, именно во Флоренции в начале 1860-х гг. кн. Петр Трубецкой познакомился с американской певицей Адой Винанс, на которой женился, имея законную венчанную супругу в Рос-

сии, и не мог вернуться на родину, так как попадал под статью о двоеженстве. Сыновья его от американки, выдающиеся скульптор и художник Паоло и Пьетро, как и затем от ее горничной, считались внебрачными. Князь П.П. Трубецкой – анархист, конечно, не политический, но домостроевский.

Скарятини, как noblesse к тому oblige¹², занимали один из старинных особняков. В его покоях и залах, убранных с аскетической роскошью, Ольга Ростиславовна, супруга Владимира Скарятинина, предавалась двум основным занятиям: скуке и борьбе с ней, которая заключалась в спорах с молодыми правдоискателями и прихлебателями при идеях, собиравшимися в ее салоне по вечерам.

День угасал, Ольга сидела на террасе, приподняв край подола белого с золотым пояском платья, и нежилась в лучах особо приятного, уже не палящего тосканского солнца. Даже сбросила обшитые золотой тафтой туфли, предаваясь его теплой, всепроникающей неге, которой так не доставало в Петербурге с его шестимесячной зимой и остальными шестью месяцами пестрой непогоды. Ольга и красива была красотой петербургских широт. Ее типаж описан еще Пушкиным:

*Глаза, как небо голубья;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан,
Все в Ольге... но любой роман
Возьмите и найдете верно
Ее портрет...*

Но сейчас солнце наполняло голубые водянистые глаза Ольги теплой синевой и играло отсветами на медном шлеме русских, красиво уложенных локонов.

На террасу вошла горничная и доложила:

– Ваша светлость, их сиятельство Владимир Дмитриевич вернулись.

И тут же за спиной горничной выросла широкая фигура прибывшего.

Он был роста чуть выше среднего, с мягкой волной зачесанных назад русских волос, оставляющих открытым высокий лоб. Довольно большие усы и короткая борода почти прятали умно сжатые губы, выдававшие человека терпеливого, умеющего переносить труды и лишения. Серые его глаза Ольга после венчания называла зеркалом своего счастья, а немного позже зеркалом своей судьбы.

Сейчас глаза Владимира Дмитриевича светились теплотой и лаской – неделю он был в отъезде. Ольга Ростиславовна попала ножками в туфли и бросилась ему навстречу.

– Душа моя, – прижал ее к своей необъятной груди Владимир Дмитриевич, – скучала?

– Уж как скучала, только то и делала, что скучала!

– шептала она, и голос ее срывался оттого, что в лицо ей хлынул дух и запах мужа, от которого нетрудно было лишиться чувств.

– И я скучал, хотя и некогда было.

– Расскажи, – шептала Ольга, сопротивляясь соблазну уронить голову на его плечо.

– Все расскажу, ничего не забуду, – Владимир Дмитриевич подхватил на руки ее легкое стройное тело и понес в дом, к опочивальне.

У самой ее двери Ольга Ростиславовна, однако, извернулась, как большая рыба в руках рыбака, изловчилась и выскользнула из объятий истосковавшегося супруга.

– Ах, так мы до утра... – положила руку на грудь и закатила глаза.

– И что ж тебе еще надо? – попытался вернуть ее в свои объятия супруг.

– Ах, но тогда, – упрямылась Ольга Ростиславовна, – я не узнаю сегодня твоих новостей.

– Вот как? – Владимир Дмитриевич не без удивления отстранился; ему понадобилось несколько секунд, чтобы совладать с собой. – Что ж, как тебе будет угодно, Ольга Ростиславовна, поговорим за ужином.

– Да, за ужином, – небрежно отозвалась она и, подойдя к зеркалу, поправила выбившиеся из прически локоны; в зеркале же увидела, как вышел Владимир Дмитриевич.

«Пусть его, – обиженно пожала губки, – будет знать, как оставлять меня на целую неделю», – и со страдальческим вздохом закатила глаза.

* * *

К разговору о поездке вернулись за ужином.

– Не представляешь, Оленька, что за буйство в народе. Я пересек весь Север полуострова отсюда до французской границы. Пьемонтская равнина – это бастион, усеянный замками-крепостями, которые сейчас очень кстати, учитывая брожение народа, – Владимир Дмитриевич оторвался от поданного блюда рисовой каши с трюфелями, издававшего соблазнительнейший аромат. – Работы и на железных дорогах кипят. Тоннель в тринадцать верст длиной скоро прорежет Мон-Сени и соединит Италию с сетью французских дорог. Даже горы перестали быть преградой на пути прогресса.

– Чудесно! – восхищалась Ольга Ростиславовна. – Я давно мечтаю посмотреть Савойю, а на паровой машине – это же прогресс!

– Дороги пожирают огромные капиталы, но способствуют унификации государства. Проект Гарибальди о мобилизации национальной гвардии отчасти уже приведен в исполнение: в дороге часто

встречаются роты, передвигающиеся с места на место. И когда наступит момент решительной борьбы, все они составят тот миллион штыков, о котором мечтает Гарибальди.

– Viva Italia, viva il re!¹³ – воскликнула Ольга Ростиславовна.

– И ты слышала? – поднял бровь Владимир Дмитриевич. – Молодежь кричит это повсюду.

– Да, из окна, ведь оно смотрит на площадь.

– Еще мне случилось ехать в вагоне с богатым банкиром и его сыном, воевавшим в «Тысяче», с которой Гарибальди высадился в Марселе.

– С ума сойти! – Ольга Ростиславовна даже отодвинула тарелку.

Владимир Дмитриевич был откровенно воодушевлен ее вниманием:

– Старик рыдал, когда узнал, что его шестнадцатилетний щенок сбежал из дому, чтобы вступить в ряды гарибальдийцев. А мальчишка без конца перебивал папашу: «Если бы ты видел Гарибальди при Мелаццо, ты сам бы пошел за ним!»

– Восхитительно, что есть такие люди! – закатывала глаза Ольга Ростиславовна.

– В волонтерах Гарибальди служили солдатами люди самых богатых и почетных фамилий. Из наших сподобился один из Трубецких¹⁴, причем царский камергер, и, уверен, он не единственный. Но самое интересное другое.

– А что же, говори быстрее! – Ольга Ростиславовна высказывала нетерпение, сохранившееся в ней с институтских времен.

– Я побывал в Турине, он тоже стоит мессы. Но главное, на заседании парламента я видел самого...

– Гарибальди! – всплеснула руками Ольга Ростиславовна.

– Нет, душенька, – Кавура.

– Да ну?! Как тебе это удалось?

– Секретарь министра, молодой человек самой скромной наружности, был очень рад доставить иностранцу случай полюбоваться на первый итальянский парламент, которым итальянцы так гордятся с непривычки. Ратацци был не совсем здоров и сидел на задней скамейке. Известнейшие Риказоли, Брофферлио, Биксио, Гвераци, Мингетти, кроме Гарибальди, дожидались великого министра Кавура. Когда он вошел, его можно было принять за последнего из последних. Костюм его из самых незавидных, кроен не Шармером, жилет бархатный самого невероятного цвета. В манерах вся подвижность итальянской природы. Ни одной секунды он не оставался спокоен: перешептывался, перемигивался и хохотал в кулак. Все читали длинные, скучнейшие доклады. Кто-то высказался с критикой о действиях Кавура. – Влади-

мир Дмитриевич налил себе бокал густого розового муската, отпил небольшой глоток и еще с большим вкусом продолжил рассказ. – И Кавур набросился на оппонента, как волк на беззащитную овцу. В одну минуту он вырос; куда девалась и смешная фигура, и бархатный жилет, и подмигивания. Поток сильных едких слов, как ядовитые стрелы, вонзились в противника. И когда Кавур выходил из зала, было понятно – вот кто царь парламента, властвующий над ним безгранично!

Ольга Ростиславовна заплодировала; правда, непонятно, кому предназначались эти аплодисменты – супругу или графу Кавуру.

Увы! Небо не разверзлось в этот момент, и не прозвучал голос Вандама:

«Все государства Европы превращены были в своего рода английские провинции./.../ Само собою понятно, какую роль должны были сыграть эти идеальные передовые базы в образовании бесконечных коалиций против Франции, или, как говорилось в ложах, – антихриста Наполеона, – и впоследствии, когда патриархом масонов был лорд Пальмерстон, а в подчинении у него, по масонской иерархии, состояли Кошут, Гарибальди, Мадзини, Ратацци, Кавур и даже Наполеон III...»¹⁵ Увы...

И Ольга Ростиславовна вскричала:

– Bravo! Я заслушалась, Владимир Дмитриевич.

Не о нас с тобой писал Пушкин:

Владимир и писал бы оды,

Да Ольга не читала их.

Я в восторге! Тебе самому впору выступать с трибуны, ты легко бы стал соперником этому парламентарскому властелину.

Владимир Дмитриевич снисходительно улыбнулся:

– Спасибо, Оленька. Да ведь известно: женщина любит ушами, – он подошел и поцеловал ее в ушко.

Ольга Ростиславовна замерла: пожалуй, она довольно его помучила. И если он будет настаивать...

Но Владимир Дмитриевич вынул из нагрудного кармана часы и щелкнул крышкой:

– Время позднее. Прости, душа моя. Завтра в Петербург отъезжает нарочный. Я обещал Михаилу Никифоровичу отправить отчет о моей поездке. Прости, Оленька, но сам Катков дожидается, – он расцеловал ей ручки. – А ты откушай еще миндального печенья с Вин Санто, ты ведь приохотилась. Кстати, у тебя завтра салон собирается?

– Завтра? Завтра, разумеется. Если доживем до завтра.

* * *

До первых зарниц Владимир Дмитриевич увечивал на бумаге рассказанное Ольге Ростиславовне за ужином, но с большими подробностями и комментариями, драгоценными для внимательного читателя в России, желающего не отставать от Европы. К утру очерк был готов и отправлен в Царьград на берегах Невы. Он появился в ближайшем, 25-м номере газеты «Современная летопись» за 1861 год. Газета выходила по четвергам в качестве приложения к журналу «Русский вестник», который издавал Михаил Никифорович Катков, титан своего дела: философ, публицист, критик, профессор, давший на страницах «Русского вестника» зеленую улицу новой русской классике. Удивительно, как ему удавалось почти каждый день выпекать свежие статьи еще и для своей газеты «Московские ведомости»?!

А в «Современной летописи» среди прочего публиковались социально-бытовые зарисовки итальянской жизни, сделанные пером в жанре изящной словесности Н. Щербиной, А. Веселовским, Я. Ефимовым, В. Скарятиним. Утверждение А.И. Герцена в письме Огареву «один Мечников умеет писать» весьма субъективно и основано на политических пристрастиях. Писать умели все эти авторы. А князь П.А. Кропоткин считал, что Н.Щербина (1821–1869) в своих «прекрасных антологических стихотворениях... превосходит даже Майкова».

Иных М.Н. Катков не допустил бы на страницы своих изданий. Природные красоты, нравы, политика и образ народонаселения были отражены в их очерках, как в зеркале. Сообща они складывали единую панорамную мозаику жизни в Италии и в других странах Западной Европы второй половины предгрозового XIX века и не утратили ценности по сей день, а только приобрели право называться историей.

В следующий четверг июля 1861 лета в Урюпинске и Енисейске подписчики «Современной летописи» прочитают о вояже Владимира Скарятина по Северу Италии и делают полезные для себя выводы, так как разделяют мнение Гоголя: «И прежде, и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы».

А пока сам Владимир заснул сном младенца, убаюканный сознанием выполненного долга, ибо нет снотворного более могучего, чем это сознание.

Глава 6 Возвращение к жизни

Если Венецию называют салоном Европы, то Неаполь 60-х годов XIX века можно назвать прихожей гарибальдийской революции. Январь здесь не холоднее июля на берегах Невы, и лучшего театра для народной жизни, чем его улочки, площади и кофейни, нельзя придумать. Театра, происходящего между балаганом и базаром или базаром и будуаром.

На паперти на площади у Замка (Largo del Castello) можно было услышать неистовые речи гарибальдийского падре Джёванни Каваци в сутане нараспашку поверх красной рубахи – в храмы этого полушута, полубезумца не пускали. Его окружала толпа зевак, в основном из старух, и он по подобию Савонаролы вещал, срывая голос до хрипоты:

– ...ни отлучение от церкви, ни гнев святейшего отца нимало не повредили моему здоровью! Я заел его грозную буллу отличным блюдом вкусных макарон с томатным соусом и запил бутылкой хорошего вина!...

Старухи крестились, сплевывали и громко зазывали молитву «Санктус».

На каждом шагу к прохожим приставали шустрые продавцы газет, перекрикивая друг друга:

– «Демократия»! «Меч Гарибальди»! («La Democrazia», «La spada di Garibaldi»), «Официальная газета»! «Кулак»! («Gazzetta ufficiale», «Pugnolo»).

Отделаться от них можно было, только откупившись, т.е. приобретя их товар.

С ними соперничали нищие и попрошайки, за нудно клянчившие подаяние:

– Un grano, Signore! Qualche cosa!..¹⁶

А вот иностранец пустился наутек от принаряженной девицы с большим носом, которая совала ему в лицо жалкий букет полуувядших роз, предлагая купить их по несуразной цене. Но на следующем углу маячила другая такая же девица – целые стайки их патрулировали по городу. Каждый, выходя на улицу, становился добычей бродячих торговцев мелкой галантереей, сладостями, булками. Ушные перепонки лопались от крикливых охрипших голосов и языка, мало напоминающего благозвучную речь Данте и бельканто.

Но тут же рядом блистал красою вечною Везувий, виднелись белые городки на его плодородной лаве, а за ними сосущая синевою глаза морская лазурь – все то, что, как сказано сторонним наблюдателем, «надо самому увидеть: описания созданы не для Неаполя».

В Старом Городе, эдаком неапольском Гарлеме, всякому известен подвальчик гаморристки Санджёваннары. На первых порах её «крышевал» один из самых страшных гаморристов, но так допек, что она отметелила его и пообещала оторвать голову, если он еще к ней сунется. Завсегдатаи заведения сильно зауважали ее за это, и она сама стала гаморристкой, что повлекло частые стычки с полицией. И вот явился новый пророк революции Гарибальди, в чьем лице грозная и вместе с тем беспомощная бандерша узрела заступника своего кошелька от беспредела навязчивых блюстителей порядка, влетающих в копейку, и стала служить его делу с рвением крохобора.

В этот бурлящий неапольский котел и окунулся наш гарибальдиец.

Рана в боку от бурбонской гранаты умножалась на последствия старого коксита и не переставала напоминать о себе. Но иная тоска, «своего рода болезнь» не давала панасовцу покоя. Диагноз этой болезни – «тоска по мольберту». О ней Лев Ильич писал: «Пока я весь был поглощен деятельностью, в которой сам принимал участие, мне не было времени предаваться самосозерцанию, фантазировать, мечтать, философствовать, – а мы, северные люди, большие до этого охотники. Итальянец живет, прямо принимает факт, иногда рассчитывает, а рассуждает редко, и то вызванный необходимостью. А мы грешные... да что и говорить!»

Об этой разнице говорил тогда и другой русский в Неаполе, Н. Щербина: «...На западе европейского материка теперь заметен перевес внешней цивилизации над внутренней». Сегодня, по прошествии полутора столетия, эта разница обозначилась резче, каждый удалился в свою сторону, достигнув полноты несовместимости. Но блажен, кто верует: Лев Ильич, будучи уверен, что со временем она, наоборот, сотрется, вышел на улицу спасаться от «тоски по мольберту». А как от нее спасешься? Только мольбертом.

Он свел знакомства в кругу неапольских живописцев. Но ярких личностей среди них не нашел, зато нашел почти полное отсутствие какой-либо художественной жизни с ее вернисажами и галереями, да еще неразлучную сестру бездарности – зависть.

Лев Ильич, которого природа наделила дарованиями на троих, стал искать утешения в народе. Тут он наткнулся на проповеди безумного падре Кавацци, там поразила его воображение Санджёваннара, а в меблированных комнатах (*chambres garnies*) он познакомился со златокудрой палермитанкой Наньеллой, перебиравшей струны на гитаре. Она прониклась к новому поклоннику дове-

рием и поведала свою историю, которая его поразила тем, сколь рано разыгрываются страсти у южных народов, и девушка в восемнадцать лет, претерпев брак и романы, может считаться отжившим существом. Именно – существом: слова «человек» по отношению к женщине в народной латыни – итальянском, французском, испанском языках, не существует. И «права человека» соответственно звучат как «права мужчины».

Появился у Льва Ильича и приятель, «импровизатор Дженнаро, малый лет тридцати пяти, с красивым и дерзким лицом». Этот Дженнаро посмеивался над англичанами, хоть и делал на них деньги, и дружил с семьями русских: ведь бедные русские в те времена за границу не ездили. Да, впрочем, и в нынешние...

Дженнаро мог сочинить музыку или сделать обработку уже известной неапольской песни. Он кутил по кофейням чуть ли не каждый день вместе со Львом Ильичом, который делал карандашные и акварельные портреты сотрапезников и охотно дарил их, за что его везде бурно принимали и угощали за свой счет.

И вот однажды за пирушкой какой-то повеса, пропустив стаканчик игристого ламбуско, со вздохом оповестил, что в общих комнатах гарибальдийских гвардейцев умирает некий Карлуччо. Беззаботное выражение сползло с лица Льва Ильича, и он пулей выбежал из кофейни.

Тот самый Карлуччо, который глазом не мигал перед лицом канонады и о котором Лев Ильич, к своему стыду, почти забыл со дня рокового сраженья. А ведь они были если не друзьями, то задушевными приятелями и часто сживали у костра. Кто бы мог подумать, что этот почти юнец, росший без матери, успел потерять любимую женщину и попасть за решетку в Понце?! 27 июня 1857 года, а это была суббота, туда пришвартовалось судно Карло Пизакане «Кальяри», который поднял восстание и освободил из тюрьмы человек тридцать заключенных, в числе которых оказался Карлуччо. Бывшие заключенные неизбежно пополнили ряды своего освободителя. Все зачинщики этого мятежа вскоре были казнены, а сам Пизакане, неизвестно, убитый или только раненый, был повешен вниз головой и сожжен разъяренной толпой в Санце. Зато Карлуччо вместе с Никотера «повезло»: их пожизненно посадили в тюрьму Палермо. Но Гарибальди не дал им там засидеться: когда с повстанцами он занял город, то первым делом отдал приказ сбить запоры тюрьмы, вслед за Пизакане подав пример своим будущим последователям 1917 года.

Лев Ильич вбежал в убогую, полутемную комнату

общезития. Незнакомые люди и женщина в черном столпились вокруг железной койки, на которой бредил, метался еще живой труп. С трудом можно было признать в нем Карлуччо. Лев Ильич не выдержал и вышел из комнаты, в которой царил смерть. Какой он в сравнении с Карлуччо счастливее! От такого утешения хотелось броситься в море.

Но предстояло еще пережить похороны. А самым несправедливым казалось то, что мир не ставил на них точку, а продолжал свое существование, как будто ничего не случилось. Так же вставало солнце, красовался Везувий. Ничто так не утешает в скорби, как мысли о вечном. И Лев Ильич отправился в Помпеи, знакомые ему по картине Карла Брюллова. Ему посчастливилось: как раз туда прибыла группа русских посетителей из Отеля de Russie на улице Санта Лючия в сопровождении гида, известного в городе человека. Лев Ильич примкнул к группе. Гида звали Андрей Попов, был он из вольноотпущенных и проживал в Неаполе уже тридцать лет. Он освоил языки, а экскурсию по Геракулануму и Помпеям проводил со знанием настоящего археолога. Лев Ильич надолго запомнил эту прогулку и сделал некоторые выводы, послужившие ему в дальнейшем для написания научных трудов.

Большая часть гарибальдийцев, получив жалованье за шесть месяцев, выходила в отставку. Правительство особым декретом запретило бывшим гвардейцам носить красные рубахи. Более того, экс-король Неаполя и кардинал де Мерод вспомнили, что красный плащ – рабочая форма палачей, и стали наряжать в них наемных разбойников. Лев Ильич давно чувствовал себя в Неаполе как рыба в воде. Здесь он сливался с общей массой, и ему не задавали таких вопросов, как бывало прежде и как он вспоминает в «Записках гарибальдийца»:

«– Да вы ломбардец? – спрашивал вдруг комендант совершенно неожиданно. Я отвечал отрицательно.

– И не венецианец?

– Нет, даже не итальянец, – сказал я, чтоб избавить бедного старика от необходимости пересчитывать все провинции Италии.

– Так вы венгерец, – заметил он уже вовсе не вопросительно.

– И то нет. Я славянин.

Если б я сказал, что я троглодит, это бы меньше удивило коменданта. Глаза его блеснули в темноте и обегали меня с ног до головы.

– Да, великая и эта нация, – прибавил он после нескольких минут молчания».

Однажды Лев Ильич сидел на скамейке на вилле Реале и насвистывал незатейливый мотив, чтобы не спорить с Дженнаро, резонерствовавшим о достоинствах местных искусств.

– Да ты меня не слушаешь! – заметил Дженнаро. – Куда уж нам? Видно, правду говорят, что ты виделся с самим Мадзини? Скажи, встречался или это только слухи?

Лев Ильич загадочно улыбнулся.

В это мгновение из-за угла вылетела маленькая коляска, запряженная парой лошадей, в которой сидел, нахлобучив на глаза венгерскую шапочку, Гарибальди и болезненно морщился от того, что его преследовала шумная толпа, орущая «Вива! Вива!»

Коляска остановилась у гостиницы, где Гарибальди обедал. Его встретили пьемонтские карабинеры и закрыли собой от толпы, рвавшейся к своему идолу, который, по слухам, должен был чуть ли не завтра покинуть Неаполь. Он шмыгнул по живому коридору и скрылся в дверях гостиницы. Толпа не расходилась, ожидая, когда вождь снова появится. «Вива! Вива Гарибальди!» – доносились крики с разных сторон. Зря пытались карабинеры пресечь их.

Действительно, Гарибальди уезжал из Неаполя на Капреру, и его верным гвардейцам ничего не оставалось, как последовать примеру вождя и покинуть город. Лев Ильич тоже решил подать в отставку. Но получить ее оказалось не так просто: пришлось обивать пороги штабов и интендантства, где он повстречал немало товарищей если не по несчастью, то по участи. Правда, они, в отличие от Льва Ильича, выбивали пособие и сильно напомнили ему капитана Копейкина, целые стада исправных капитанов Копейкиных. Этот общечеловеческий гоголевский тип приобрел новое воплощение в гарибальдийцах в далеких от Санкт-Петербурга по карте, но близких по духу кулуарах неапольской бюрократии.

Целый мир и целую жизнь оставлял за плечами Лев Ильич, и этому миру тоже будто жаль было расставаться со своим новым обожателем: с моря недовольно подула сильная трамонтана, в Неапольском заливе разыгрался шторм, а Капри заволокло густым туманом в тот день, когда он приобрел билеты и взошел на борт судна флотилии «Имперских курьеров», готовившегося к отплытию в Ливорно, в Тоскану с ее гордой столицей Флоренцией.

Глава 7 На холмах Флоренции

«Здесь все как-то светло и радостно».

(Б. Зайцев)

Не чаепития ради собиралась восторженная молодежь из России в гостеприимном салоне Ольги Ростиславовны Скарятинной, а ради переустройства мира, ну, и кое-кто ради хорошенькой хозяйки.

Разговоры велись такие, которым бы дались диву оба Фомы – Мор и Кампанелла. Иногда на эти бурные собрания захаживал главный воспитатель Ольги, супруг ее Владимир Дмитриевич, и одним мизинцем разрушал карточные домики, которые строила эта неоперившаяся экзальтированная публика, оторванная от корней и напоминавшая безумную стрелку размагниченного компаса.

В этот салон и был приглашен отставной гарибальдийский поручик Мечников, недавно появившийся в извечной сопернице Флоренции – Сиене.

Одна из дверей салона вела на террасу, в цветущий, благоухающий сад, а за ним, – это подметил еще Стендаль, – «как на картинах Леонардо или Рафаэля, перспектива заканчивалась тенистыми деревьями, которые обрисовались на фоне чистого лазурного неба».

Ольга в зеленом кружевном платье с черным бархатным бантом на груди и таким же поясом перелистывала на террасе «Естественную религию» Ж. Симона.

Когда-то Ольгу исключили из института за ее слишком дерзкие вопросы о Боге, но ее гонители не поняли, что она была не атеистична, а антирелигиозна. Христианство ей было тесно, как туфелька Золушки ее сестрам. Она искала Бога в природе, и само название – «Естественная религия» – сулило путеводную звезду в ее денном и ночном поиске.

Доложили о приходе первых гостей. Ольга Ростиславовна встала навстречу худощавому человеку с сухим, желчным лицом, заметно припадавшему на одну ногу. Густые черные волосы его закручивались в жесткие непокорные локоны, а влажные вишневого цвета губы казались ярче из-за черных усов и бороды. Глаза блестели, готовые в любую минуту вспыхнуть молнией. Ольга Ростиславовна отвела взгляд.

– Лев Ильич Мечников, – объявил новое лицо пригласивший его приятель, – из отчаянных, прошу любить и жаловать. Прошел огонь и воду в рядах гарибальдийцев.

– Вы видели самого Гарибальди? – с замиранием спросила Ольга Ростиславовна.

– Разумеется, – коротко и не очень охотно ответил Лев Ильич.

– Вы сражались под его прямым командованием? – не пожелала замечать его сдержанности Ольга Ростиславовна.

– Нет, сначала я попал во флорентийский отряд Никотеры, а позже служил при штабе генерала Мильбица. Обеспечивал доставку боеприпасов на позиции и занимался укреплением Капуанской арки.

Ольга Ростиславовна пришла в восторг: наконец-то пред ней не просто любитель повитийствовать, а боец, верно, герой, пропахший порохом.

– И вы сражались в настоящем бою?

Лев Ильич рассмеялся: ох, эти женщины, им только и подавай бедного героя со шрамами, чтобы утешать его своими чарами!

Смех Льва Ильича разрядил атмосферу. Ольге Ростиславовне показалось, что это ее домашний человек, с ним можно говорить запросто и они уже давным-давно знакомы.

– Ах, ну что же мы стоим, господа! – вспомнила она об обязанностях хозяйки дома. – Прошу, проходите, устраивайтесь.

Но и на шелковых диванах Ольга Ростиславовна не давала гостю расслабиться, засыпая его вопросами:

– Сражались, вы? Сражались? Понюхали пороху?

– И не только понюхал. Можно сказать, принял порцию для внутреннего пользования.

– Так вы были ранены! – совсем восхитилась Ольга Ростиславовна. – Вот отчего и хромаете, бедный! Мечников развел руки перед силой женской логики.

– А скажите, – тон его допросительницы резко изменился, – скажите, вам приходилось убивать человека?

– На войне все убивают, – с грустной иронией ответил допрашиваемый. – Убивают, но не становятся убийцами.

– А вы, вы собственноручно в кого-нибудь пустили пулю? Враг – тоже ведь человек! Дома, где-нибудь в Провансе или Нормандии, его ждет мать, невеста...

– Ну, знаете, милостивая сударыня, – остановил ее Лев Ильич, – если так рассуждать, то не надо совсем идти на войну. Законы мирного времени умирают перед началом боевых действий. Но не будь этих действий, не было бы и героев, и кем бы тогда восхищались эксцентрические дамы?

Ольга вздрогнула: ее уже называли эксцентричной в институте, да и супруг не однажды за пять лет совместной жизни. Неужели она в самом деле эксцентрична?

– Отдаю должное вашему остроумию и... наблюдательности, – улыбнулась она, – но на вопрос мой вы все-таки не ответили.

– На какой вопрос? – сдвинул брови Лев Ильич.

Ольга Ростиславовна посмотрела ему в глаза, предоставив возможность разглядеть свои, какого они чистого серого цвета и как нелегко выдерживать их взгляд:

– Вы кого-нибудь убили?

Теперь отвести глаза пришел черед храброму гарибальдийцу:

– Нет, черт подери, не убил! Никого не убил! Не довелось! Хотя это и несолидарно по отношению к моим товарищам по оружию. Не убил, потому что не было случая...

– Все, все! Его величество случай! – оборвала его Ольга Ростиславовна. – Больше ни слова. Не важно, почему, а важно, что вы не убийца, что я у себя в доме принимаю гвардейца, героя знаменитого сражения, а не убийцу! Вот что главное!

– Ну, для удовлетворения инстинкта кровожадности мне достаточно переобуться в ботфорты и взять охотничье ружье, – заметил Лев Ильич.

Ольга Ростиславовна остановилась посреди залы:

– С ружьем, на безобидную, безоружную утку или зайчишку?

В гостиную вошел Владимир Дмитриевич Скарятин. Присутствующие встали.

– Владимир Дмитриевич, – бросилась к супругу Ольга Ростиславовна, – какого замечательного человека я тебе представлю! Лев Ильич Мечников, он видел Гарибальди! Ты видел Кавура, а он Гарибальди!

Владимир Дмитриевич кивнул:

– С этим молодым человеком мы уже имели честь познакомиться. И даже сравнить наши взгляды на Мадзини.

У Скарятин были все основания называть Мечникова молодым человеком: он был почти на десять лет старше.

– Конечно же, вы не сошлись, – угадала Ольга Ростиславовна.

– Вы хорошо знаете своего мужа, – заметил Мечников.

– И вижу перед собой его противоположность, – с готовностью произнесла Ольга Ростиславовна.

– Тем более любопытно послушать ваши рассказы, – обратился ко Льву Ильичу Скарятин.

Тот не заставлял себя упрашивать. Уж собралось человек десять завсегдатаев салона Ольги, и все внимание обратилось на новенького.

– Биксию в кругу гарибальдийских генералов занимал очень почетное место, – начал он. – Его отча-

янная храбрость и устойчивость перед врагом составили ему громкое имя. Однако замечу, что он вполне был чужд тех положительных и основных качеств боевого генерала, которыми отличался, например, Мильбиц. Биксию умел искусно возбудить энтузиазм своих солдат, был всегда на самых опасных пунктах и со своими генуэзскими карабинерами делал чудеса; но правильно сообразить план сражения, рассчитать силы неприятеля, предусмотреть движения его – это не его дело. Кроме того, он был до свирепости вспыльчив и в минуты опасности неукротимо груб и жесток. Не раз оскорблял лучших из своих офицеров. В деле при Реджио, скомандовав атаку в штыки, Биксию увидел молодого солдата, спокойно стоявшего на месте, тогда как другие быстро бросились вперед.

– А, ты не идешь! Ты трусишь! – закричал генерал.

– Я не могу идти, потому что у меня ружье без штыка и испорчено, – спокойно отвечал юноша.

Раздраженный Биксию, не выслушав его ответа, выстрелил ему в лоб из своего револьвера.

Лев Ильич рассказал еще несколько эпизодов, и, когда закончил, Скарятин должен был признать:

– Если вы, господин Мечников, так же пишете, как говорите, то грех, просто грех не написать пером то, что вылетело сейчас воробьем.

– Благодарю вас, – сдержанно поклонился Лев Ильич. – Я уже писал для «Индипенденте» папаши Дюма.

– Тогда сам Бог велел писать, тем паче опыт уже имеется!

– Написать-то я напишу, – вздохнул Лев Ильич, – но кто и где мой труд опубликует?

– Это вы уж предоставьте мне, – заверил его Скарятин. – Вы, вероятно, знаете, что с некоторых пор я сотрудничаю в «Современной летописи», да и журнальчик «Весть» редактирую. Разумеется, «Весть» не станет тягаться с «Русским вестником», но в любом случае – это трибуна!

– Да разве Катков станет печатать революционера? – возразил Лев Ильич.

– О-о, вы не знаете, какой замечательной широты сердца и взглядов человек Михаил Никифорович, – покачал головой Скарятин. – Он ратует за высшую справедливость. Лучшие авторы отдают ему свои рукописи: Лев Толстой, Николай Лесков, Алексей Толстой, Федор Достоевский! Неужели вы откажетесь от такой компании! Решено. Возвращайтесь к себе и садитесь за ваши очерки. Через неделю будет нарочный в Санкт-Петербург, он не должен уехать без вашей исповеди. Вы согласны?

– Согласен, – ответил без колебаний гарибальдийский ветеран двадцати двух годов.

– Я верю в вас, – подливал масла в огонь его ре-

шимости Скарятин. – Главное, начать. Как говорил Пифагор, начало дела – это уже полдела. Я сам в Пятигорске минувшим летом взялся за свои заметки золотопромышленника и, знаете, вошел во вкус. Так что поверьте бывалому морскому волку, главное, начать!

Не знал Скарятин, что русским послом в Королевстве обеих Сицилий уже было доложено в депеше от 8.12.1860 года министру иностранных дел князю Горчакову о том, что «красный республиканец и опасный человек» Мечников «был в отряде экспедиции Никотера и участвовал в битве 1 октября». Тот самый князь А.М. Горчаков, на чей юбилей Ф.И Тютчев писал:

*Он волей призван был державной
Стоять на страже – и он стал,
И бой отважный, бой неравный
Один с Европою принял.*

Министр иностранных дел собственноручно поставил на депешу пометку о том, что сообщил о Мечникове «при записке» начальнику Третьего отделения шефу жандармов князю Долгорукову.

Как ни странно, это сообщение не возымело никакого влияния на литературную судьбу Мечникова.

Глава 8 Заметки о «русской Калифорнии»

«И чем больше ты выловишь – будет все гуще».
(П. Васильев)

Скарятин закрылся у себя в кабинете, где шкафы были заставлены книгами, а на стене в золоченой раме висела генеалогия его старинного рода и грамота 1619 года от Государя Императора, которой предок его, Борис Михайлович Скарятин, был пожалован «за Московское осадное сиденье» поместьями в Тверской губернии.

Но алтарем кабинета, в который никому, как в комнату Синей Бороды, не позволялось входить, был просторный письменный стол, на котором Скарятин ждал «Заметки золотопромышленника». Он открыл их и перечитал наугад пару абзацев: «Мне хотелось сказать и свое слово о том, что не даром, не бесследно тратится бойкая жизнь золотопромышленников, проходящая в чаду карт, золота и шампанского; что баснословная быстрота их обогащения, далеко опередившая быстроту наживы целовальников и подрядчиков, не может оскорблять ничьего взора, ибо рядом, рука в руку с миллионами золотопромышленников не истощалось, а крепчалось благоденствие народное».

Скарятин откинулся на спинку кресла: что там по этому поводу вещал Некрасов:

*Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая – страдания народа,
И что поэзия ее забыть должна.
Не верьте, юноши, не стареет она...*

Что же, в пору отдать дань старой теме. Скарятин писал о мужиках, которые разрабатывали золотые россыпи в районе отца сибирских городов Енисейска по левому берегу Енисея – самой многоводной реки России.

Любопытно, что дата основания города та же, что и на грамоте, жалующей род Скарятиных (Скарятинных) титулом и поместьями: 1619 год.

В середине века вокруг Енисейска разразилась золотая лихорадка, «более лихая, чем в Калифорнии». Да и как не быть лихорадке, если вчерашний голодранец мог в одночасье превратиться в богача. Но даже несметное богатство не способно в одночасье психологически вытащить человека из грязи в князи. Разбогатевший «золотопромышленный люд» бесился с жиру. Один бывший рабочий велел запрячь в сани девок за денежную мзду и везти себя пятнадцать верст до деревни, другой – «проискался до нитки, залез в кредит по горло... Вдруг находит прииск богатства невероятного, прииск, давший несколько миллионов. Повалился в болото около шурфа, из которого была вынута богатейшая проба, кажется, одиннадцать футов золота, и велел поливать себя шампанским. Валяясь в грязи, он восклицал:

– Лей! Был ты Ванька, а будешь Иван Степанович. И не ошибся».

Потом вокруг таких Иван Степановичей, Приваловых, Морозовых и Мамонтовых вертелись обедневшие аристократы. Потом «людям этим пожимали руку графы, князья и генералы. Немудрено, что у многих голова пошла кругом».

Особенно «знаменит по кутежам и разгулу город Енисейск». «Не боюсь превзойти истину, – продолжал гнать перо Скарятин, – сказав, что в Енисейской губернии вместо прежних 70 000 ведер выпродается теперь более 200 000 ведер вина». А на главной, Большой, улице отца сибирских городов бьет ключом культурная жизнь; приобщает мужиков к высоким материям «тошноту наводящая театральная труппа и осипший певец-итальянец еврейского происхождения, которые делают великолепные сборы. Деньги дешевле щепок». Иначе и быть не может в «богатырском разгуле», когда золото буквально валяется под ногами. Чем не «русская Калифорния» XIX столетия!

Но кроме кутежа и разгула еще процветает на приисках и воровство. На какие только уловки не

пускается люд, чтобы овладеть чужим золотишком. «Русская пословица – «отвага мед пьет, отвага кандалы трет» – нашла тут широкое применение». А отвага здесь была необходима не только для медовух да кандалов. Справа от города из-под золотоносных сопок Енисейского кряжа по речке Большой Пит пролег путь к приискам. В половодье вода в нем поднимается без малого на пять сажень, и те из отчаянных голов, кто осмеливался тогда сплавляться по ней, прозвали ее «бешеной».

А вокруг своей отдельной жизнью живет природа: кольцом обступает город тайга и стремительно, почти по меридиану уносит свои воды на противоположный край континента в Северный Ледовитый океан его брат Енисей. По ходу в него впадает около ста рек, а самая длинная, Нижняя Тунгуска, немногим короче самой Волги.

Владимир Дмитриевич пускается в описание природы, накатывают запахи кедра, ели и пихты и нисходит на него в удобном кресле далекий «комфорт тайги». Об одном только не задумывается Скарятин, что для русской литературы он открывает необычную Сибирскую тему¹⁷, на два десятилетия предваряя Мамина-Сибиряка с его «Приваловскими миллионами», становится предтечей Арсеньева за полвека до появления «Дерсу Узала» и путешествия «По Уссурийскому краю», а многое, что прозвучит в «Острове Сахалин» Чехова, уже слышно в «Заметках золотопромышленника».

Они сделаны даже раньше «Записок революционера» Петра Кропоткина, в которых тот рассказывает о своих сплавах по Амуру и достижении Хингана, окраинного хребта высокого плоскогорья. Сюжеты, затронутые Скарятиним, найдут самые неожиданные реинкарнации и в легкой литературе: они воскреснут в приключениях «Шерлока Холмса в России» Никитина и Орловца, двух детективных авторов начала XX в. Мистер Холмс и доктор Ватсон, якобы оказавшись на Братском прииске, разгадают хитроумнейшие хищения тамошних приказчиков.

Книгу Скарятин можно было бы включить в отдельную сибирскую литературу, если бы «великий и могучий» не соединял ее в единое целое с литературой средней Центрально-черноземной полосы и остальной части России как в пространстве, так и во времени, исчисляемом летописями Древней Руси. А время в летописях исчисляется от сотворения мира и требует, как известно, прибавления к существующей дате 5 508 лет.

Владимир Дмитриевич оторвался от рукописи, тоже своего рода летописи енисейского бытия, когда уже брезжил рассвет. Взглянул за окно: где же вы, сорок сороков Енисейска с куполами Успенской,

Воскресенской, Троицкой церковью, Спасского и Богоявленского соборов? Что это за холмы, пинии, сиропы, отдаленно напоминающие Царьградскую Айя-Софию? Где он – город сибирский? Что с ним? Батюшки, да ведь за окном «небо Италии, небо Торквата» и купол Брунеллески! А душа тешится в «комфорте тайги».

Флоренция. Мекка для скарятинских енисейских миллионов и демидовских уральских. Николай Демидов пустил их в здешнем краю в дело еще в двадцатые годы текущего века, отгрохал «seconda reggia fiorentina», «второе флорентийское царство», виллу Сан Донато, соперничая с самим великим герцогом Тосканским, а сынок его, Анатолий, вложил бешеные деньги в текстильную фабрику. Да и матушка Анатолия, Елизавета Строганова, свои строгановские уральско-прикамские миллионы в приданое тоже не иначе как здесь оприходовала. Видно, сложилась такая дурная новая традиция – золото из Российской империи свозить в промотавшуюся наследницу Римской.

Глава 9 Перековав мечи на перья

Мой меч – перо,
Поле сраженья – лист бумаги;
Слова-солдаты собираются в полки –
И армия ведет уж наступленье.

Не спал в эту ночь не один Скарятин. Горела лампада в узком окошке недалеко от площади, похожей на ракушку-жемчужницу, в дерзкой сопернице Флоренции – Сиене.

Юный гарибальдийский ветеран, носивший бою, чтоб казаться старше, быстро писал на листе бумаги, исписав его донельзя, откладывал в сторону и брался за следующий:

«Едва мои мысли пришли в порядок, я вспомнил решительную минуту, в которую оставил сражение. Исход его сильно интересовал меня.

Между тем вагон с порохом и зарядами, о котором я телеграфировал в Казерту несколько часов тому назад, успел явиться. Из батареи был прислан офицер главного штаба для наблюдения за разгрузкой его. От него я узнал следующее: кавалерийский полк, шедший на нас в атаку, был встречен с фронта всем войском, находившимся в батарее у арок, а с фланга – сильным ружейным огнем французской роты из ретраншированного домика.

Несколько раз неприятель отступал, но потом снова возвращался, пока наконец, потеряв почти

всех офицеров и множество рядовых, побежал в беспорядке. Баварские гренадеры отдельными ротами ударили на нас в штыки, но везде встречали крепкий отпор. Артиллерия осыпала нас гранатами и картечью.

Мильтиц был контужен в ногу, но не оставил сражения. Гарибальди, по обыкновению, словно заговоренный, оставался цел и невредим среди ядер и пуль, которых как будто не замечал вовсе. Наши пушки едва отвечали; с нетерпением ожидали подвоза зарядов, чтобы открыть решительный огонь.

Неприятель по-прежнему напирал с особенной силой на линию между амфитеатром и аркою; более двух часов продолжалась рукопашная схватка. Исход ее был пока неизвестен. Отчаянное мужество и стойкость гарибальдийцев уравновесили численное превосходство королевских войск. Наши батареи на Сант-Анджело несколько раз были отбиваемы, но опять переходили в наши руки. Ждали с часу на час прибытия подкрепления из Казерты. Это ожидание ободряло наших солдат. Королевские солдаты были зауряд мертвецки пьяны. Некоторые, по преимуществу немцы, дрались как звери; но неаполитанцы, не привыкшие к вину, валились с ног и часто целыми ротами попадались в плен. От них узнали, что им было объявлено о высадке в Гаэту 20000 австрийцев...

Войску был отдан приказ жечь все те места, где жители стали бы оказывать им сопротивление; в ранах у пленных находили фашины¹⁸ из виноградной лозы, пропитанные смолой, и коробочки спичек...

Гарибальдийцев в плен было взято немного. С ними обходились бесчеловечно; убивали раненых, вешали их на деревья и жгли живых. Накануне еще попался в руки бурбонцев пьемонтский берсальер. Ему вырезали глаза, поворотили лицом к нашим батареям и заставили бежать против наших выстрелов, стреляя сами ему вслед. Все это остервенило наших солдат. Они сознавали ясно, что, если линия наша будет прорвана хоть в одном пункте, все погибнет. Неаполь сам постоять за себя не мог.

В случае поражения всех нас ожидала мученическая смерть. А потому каждый готов был умереть в поле, а это много способствовало победе...

Допустим, что бурбонцы победили бы при Вольтурно, я не думаю, что этим бы прибавилась славная страница к тощей истории неаполитанского войска. Подавить врага, шестеро слабей-

шего числом, не много нужно доблести. Кроме того, хотя Франческо II и роздал медали людям за это сражение, хотя «Journal des Debats» и не признает бурбонцев пораженными, факт красноречиво говорит сам за себя. Цель бурбонцев была завладеть Неаполем, для чего им нужно было прорвать в каком бы то ни было пункте нашу линию. Гарибальдийцы отстаивали свою позицию и отстояли. На чьей же стороне была победа?»

«А может, хитрит эта реакционерская лиса Катков? – вдруг мелькнуло у Мечникова сомнение. – Может, он сражается с противниками руками противников? Вот я сейчас опишу ужасы революции, ее разруху и кровопролития, все прочитают, ужаснутся и откажутся от мечты о преобразовании мира? Э, нет, не откажутся, достопочтенный Михаил Никифорович. Инстинкт саморазрушения в человеке так же силен, как инстинкт самосохранения. Иначе он не сделал бы кумира из Наполеона, перемолотившего не один десяток тысяч людей, да и Байрон не на экскурсию в Грецию ездил, а ведь как увлек умы! И какие умы! Но я-то,

*... я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум не много совершит...*

– Э-э-э, – вздохнул Мечников, – совсем обо мне пишет Михаил Юрьевич. После этого ранения да плюс моего застарелого коксита я уж точно кончу ране, и кого более меня можно назвать странником?»

И он перечитал написанное. Нет, заявлять о себе в самодержавной печати надо с более умеренных позиций, нельзя так сразу шашки наголо. Надо было сначала что-либо колоритное подать, экзотику, и, немного поразмыслив, остановился на ярком, многовыразительном образе Санджэванары, а потом Наньеллы.

Но на сердце у него с большей живостью запечатлелся другой, тонкий и нежный образ. «Ольга! – вздохнул он и нахмурился. – Какая... особенная. И у меня теперь не сердце, а камья сердоликовая с ее профилем».

Лев Ильич тяжело вздохнул, взял новый лист и вывел на нем «Неаполь и Тоскана». И ниже: «Флоренция, (29) 17 июля». Он полагал, что хорошо знает эти области Италии, однако «тосканская» ария у него получалась сухой и протокольной, но

только речь зашла о милом сердцу Неаполе, повествование оживилось, а некоторые оценки остались злободневны и поныне.

«Что же касается совершенного водворения порядка в Неаполитанской области, то дело это крайне трудно, и одна личность, называется ли она Чальдини или иначе, сделать ничего не в состоянии. Зло слишком глубоко пустило корни и освящено многими годами терпимости.

...Я не буду распространяться ни о величественном виде Везувия, ни о красоте С.-Лучии. Теперь вулкан* другого рода привлекает мое внимание».

Лев Ильич остановился: да, двадцать миллионов жителей, населяющих на сегодняшний день полуостров¹⁹, на треть меньший, чем, скажем, Камчатка, – это огромное количество народу! Зато Камчатка пустует. Какое неравномерное распределение в природе. А все – его величество климат.

«Нисколько не отвергаю, что эта первобытная свободная жизнь под небом южной Италии имеет свою поэтическую сторону, которой, однако, сами ладзароны не сознают и не могут сознавать по той очень простой причине, что вообще не дошли еще до человеческого сознания о себе и окружающей их жизни, не дошли не по своей вине, а благодаря тем препятствиям, которые постоянно подставляли им на пути их развития политические администраторы Неаполя со времен принца Филиберта Оранского».

Разобрав социальную анатомию «ладзаронов» – слово это, как и некоторые другие итальянизмы того времени, не найдя аналогий, не прижилось в русском языке, – Лев Ильич перешел на другую, «модную» и тогда, и сейчас, тему:

«Гаморра – не шайка, не тайное общество, а Дума в новом своем сочинении о Неаполе, говорит о ней очень неудачно. Гаморра – правительство ладзаронов, независимое от официального неаполитанского правительства, равносильное ему. Ладзароны вынуждены были подчиниться гаморре вследствие потребности противопоставить своим врагам компактную, организованную массу. Гаморристы должны были защищать их от нападений полициоттов и сбиров, а ладзарон обязывался платить им посильную подать. Если у вас украли что-либо, ни за что не обращайтесь в полицию, а ищите протекции гаморристов. Многие из них, беглые каторжники, живут теперь очень роскошно, «fanno figura»²⁰, как говорят в Неаполе. Уничтожить гаморру разом нет никакой возможности. Крутыя и строгия меры ни к чему не приведут. Большинство гаморристов во время

последней революции обнаружили необыкновенную, горячую, бескорыстную преданность итальянскому движению».

Здесь Лев Ильич несколько заблуждается: мафию сумел уничтожить «разом» Бенито Муссолини. Но спустя около восьми десятилетий, и то ненадолго: уж очень она кое-кому на руку.

И Лев Ильич описывает уже известную целовальницу Санджэваннару и рыбака с Санта-Лучии Гамбарделлу.

«У него одна из тех резких и выразительных физиономий, которые в Неаполе встречаешь на каждом шагу. Между тем человек этот очень замечательный. Родившийся и выросший среди разврата, он настолько высказал привязанность к национальному движению, что не воспользовался днями смут, чтобы набить карман, как многие другие, но, напротив, употребил свою власть гаморриста для поддержания порядка в эти трудные дни. При вступлении Гарибальди в Неаполь он встретил его от лица народа и сказал при этом длинную речь на неаполитанском диалекте. Он с неподдельным волнением бросился на колени, поцеловал руку народного героя. После этого Гарибальди имел с ним много свиданий и продолжительных бесед».

Но однажды «Гамбарделла поссорился с рыбаком на Санта-Лучии. От слов дело дошло до драки; но сын рыбака, с которым ссорился Гамбарделла, мальчик лет пятнадцати, подбежал к нему сзади и всунул ему по самую рукоятку свой нож между ребер. Толпа бросилась на убийцу и на отца его, и насилу потом подоспевшая национальная гвардия отбила их полуживых. Гамбарделла был мертв. На следующий день многочисленная толпа проводила тело своего трибуна на кладбище. Гарибальди шел за гробом...»

С Санджэваннары Лев Ильич в прямом и переносном смысле пишет портрет: «Я набрасывал в альбом княгини Д. портрет Марьянны (*настоящее имя гаморристки*. – **М.С.**) и всеми силами старался воодушевить ее разговором». Словесно же этот портрет выглядел так: «Невысокий полный стан ея был донельзя стяннут шелковым платьем. Черные волосы гладко прилизаны и покрыты громадным трехцветным платком, концы которого падали на смуглую грудь и плечи. Она уже не молода, в лице ея много грубого,

* Вулкан – это огромная масса неаполитанского народонаселения, живущая вне покровительства законов, не несущая за то никаких тягостей гражданского устройства, это, одним словом, ладзароны (лодыри, дармоеды).

вульгарного, но оно так правильно и вместе с тем так оживлено, густая, почти синия брови шевелятся, как усики у осы, крылья носа подвижны и ни на минуту не остаются в покое, – все это вместе представляет очень гармоничный ансамбль, и понятно, что в молодости женщина эта находила достаточно поклонников.

Я привел вам эти два примера для того, чтобы показать, как иногда среди того разврата, в который погружены низшие классы, попадают все же личности с искренним желанием действовать на пользу тех же своих сограждан, которых они не считают позорным грабить».

Лев Ильич вздохнул. Славно он, однако, расписался. Не прошли зря уроки Гоголя. Никого другого из писателей он так не любил... и ни с кем у него не было столько схожего в судьбе, как с Гоголем. Земляки, во-первых, оба крещены Петербургом, во-вторых, обоим занесло в Италию. Николай Васильевич воспел ее в «Риме», Лев Ильич пролил за нее кровь в Вольтурно. Да и к живописи оба неровно дышат.

«Я выбрал именно эти две области, – вернулся Лев Ильич к своему труду, – потому что оне представляют две совершенно противоположные фазы развития Италии. Тоскана с ее блестящим прошедшим, с ее кроткими и трудолюбивыми жителями, страна промышленности, и Неаполь с его буйными ладзаронами, готовыми на все, даже поработать полчаса, чтобы продолжить сладкое *far niente*, долго еще будут жить собственно отдельною жизнью, какое ни затевай-то административное единство. Лишь когда сгладятся эти особенности, тогда только единство Италии будет вполне совершенным, тогда только начнет существовать итальянская нация; а до того может быть только итальянское правительство, итальянское войско, да еще разве итальянская всемирная выставка, предполагающаяся во Флоренции к сентябрю. С этою целью уже начаты большие работы. Воксал²¹ железной дороги переделывается в галереи для выставки; мастерския художников наполняются произведениями, предназначаемыми украшать эти галереи. Содержательницы *appartements garnis*, табльд'отов видят во сне несчетные толпы рыжебородых англичан, наперерыв бросающихся на каждую дверь, на которой виднеется заветный ярлык. Даже моя старая хозяйка, синьора²² Роза, несколько ласковее выбивает пыль из фланелевой красной рубашки: кум ея обещал к сентябрю доставить отборную партию длинных англичан или, по крайней мере, русских

простаков, приехавших лечить отмороженные ими в Сибири носы».

Не явный ли это, хотя и косвенный, намек на золотопромышленника из Енисейска?

Но как бы там ни было, золотопромышленник отправил в срок опус Мечникова в Санкт-Петербург, который, несмотря на депешу шефу жандармов, появился в 34-м номере газеты «Современная летопись» за подписью «Гарибальдиец». А сразу за ней следовало объявление графа Л.Толстого об издании нового ежемесячного журнала для народных школ под названием «Ясная Поляна» в сельце Ясная Поляна Тульской губернии, Крапивенского уезда.

Глава 10 Словесный турнир

«Если в двадцать лет вы не либерал,
у вас нет сердца.

Если в сорок лет вы не консерватор,
у вас нет ума».

(У. Черчилль)

В салоне Скарятиной был объявлен торжественный вечер по случаю выхода «Записок гарибальдийца» в сентябрьском номере «Русского вестника». Вышла только их первая часть, а публикация второй была анонсирована простой, но обязывающей припиской «до следующего №». И не важно, что вместо имени автора стояло просто «М» – друзья и знакомые – Николай Курочкин, с которым судьба свела Мечникова в Одессе, Эмилия Львовна, брат Иван и младшенький Илья, сейчас он в Харькове, лучший студент университета, все они знают, а шеф жандармов не догадывается, кто стоит за «М». Само собой разумеется, знал Скарятин: ведь это он подтолкнул Мечникова к передаче «Записок» в руки издателя. Но раньше всех об этом была осведомлена Ольга Ростиславовна. С некоторых пор она стала поверенною сердца отчаянного гарибальдийца и решила удивить русскую Флоренцию приемом в его честь. Она хотела устроить праздник своему герою – вот уж в ком уничтожение паче гордости, – герою, который незаметно занял не только ее мысли.

В этот вечер она отставила либеральные капризы и оделась, как полагается великосветской даме. На ней было платье светло-коричневого бархата с набивным рисунком, с манжетами из золотого кружева и таким же воротником вокруг

глубокого декольте. На шее, как луна на небе, сияло ожерелье из желтоватых бериллов, подобранных в тон платью. В этот вечер Ольга Ростиславовна была воплощением самой красоты. Да вот только супруга ее, Владимира Дмитриевича Скарятин, почему-то больше занимали политические страсти, чем обаяние его лучшей половины.

– По-моему, Гаэта была для Италии чуть-чуть не тем же, чем Полтава для России, – сошелся он в словесной схватке со своим юным другом, каковым считал Льва Ильича. Другом и теперь уж – крестником по «Русскому вестнику».

– Кто лучше меня знает и Полтаву, – отозвался Лев Ильич, – ведь это мои пенаты, и Гаэту – там я однажды попал в бую.

– Да, бурная у вас биография! – не преминул подчеркнуть родство корнеслова Скарятин. – «Все могло бы погибнуть, если бы Чальдини не выиграл гаэтского дела». «Страшное впечатление произвела на массу населения первая неудавшаяся атака против Гаэты. И выборы производились большинством как раз под влиянием этого впечатления. Гарибальди назвал это большинство «колоссальными трусами». Ну, положим, Гарибальди красный...

– Только не говорите мне, что красный – это цвет крови! – решительно остановил его Лев Ильич. – Красный – это цвет справедливости. И если за нее приходится платить кровью, это не вина Гарибальди. Это вина тиранов! Вина Бурбонов, Палеологов и Романовых всех мастей.

– Да, – сухо заметил Скарятин, – правление Бурбонов будет свергнуто, но в результате меня, не исключено, и вас, Лев Ильич, и вашу матушку поволокут на виселицу, тысячи граждан окажутся в изгнании, в нищете, а Ольга Ростиславовна, – он указал на нее движением подбородка, – и прочие леди будут переходить от санюлоты к санюлоту в качестве услады.

При этих словах у Льва Ильича дернулась щека. Но взгляд упал туда, куда указал Скарятин, – на полыхнувшее лунным светом берилловое ожерелье в глубоком декольте, обрамленном золотом кружев, и дискуссия для него померкла. Скарятин же продолжал:

– Гарибальди, кстати, и в парламент являлся в красной рубашке: положим, он сумасброд, сорвиголова...

– Далась вам красная рубашка, Владимир Дмитриевич, – прервал его Мечников. – Когда я был на пароходе в Гаэте, за обедом мне пришлось сидеть рядом с таинственным незнакомцем. Долго

он искоса поглядывал на мою красную рубашку. Капитан откомандировал одного из офицеров сказать мне, чтоб я надел другое платье. Я отказался, тогда мой сосед обратился ко мне: «Ваш мундир напоминает вам блестящие подвиги, совершенные вами?» Я заметил, что сам я блестящих подвигов не совершал, но что мундир наш очень удобен. В конце концов, мы разговорились с сановитым незнакомцем и после обеда вышли на рубку закурить сигары.

– Красная рубаха вам, как красный сарафан для девицы на свадьбе, – пошутил Скарятин. – А письмо, в котором Чальдини порицал Гарибальди за приятельское обращение с королем и за прочее, если нашло где-нибудь сочувствие, то, конечно, в Тоскане. Ведь Тоскана самая цивилизованная часть Италии и, следовательно, самая консервативная. Особенно письмо нашло сочувствие во Флоренции, в этой, по выражению Данта, скупой, завистливой и гордой Флоренции.

Лев Ильич покраснел и поморщился:

– Порицал Гарибальди? – снова он увидел Ольгу Ростиславовну, медный локон, спустившийся в ущелье между грудой, и упустил нить разговора. – Вы же не знакомы с ним, так как же можете судить? Я сам во время военных действий мало видел Гарибальди, и видел обыкновенно в очень трудные минуты. До тех пор я знал его по рассказам, по печатным известиям и по фотографическим портретам, которые тайком покупал в Венеции за большие деньги. Я никогда не предполагал, чтобы фотография, это механическое передаление действительности, могла так переиначить личность человека. Увидя первый раз Гарибальди, я спрашивал сам себя: но что же общего между этим, выразительным и почти женски-нежным лицом и тою грубою суровою физиономией гверильяса, которой снимок тогда еще лежал в моей записной книжке?

– Как вы сказали, почти женски-нежным? А вот, глядя на Виктора-Эммануила, невольно думаешь: убьет быка!

Лев Ильич сжал кулаки: жаль, нет шпаги, не то он разобрался бы с этим самоуверенным господином, ему не вновь бросать вызов на дуэль, как бывало и в миссии этого «вешателя колоколов» генерала Мансурова, и в Харькове, в гимназические годы из-за одной особы.

– К тому же не забывайте, – продолжал дразнить быка красной тряпкой Скарятин, – в красную рубаху и колпак всегда одевался палач. И как бы ваш борец за справедливость не оказался палачом свобод.

У Льва Ильича налились глаза кровью. Вовремя подошла Ольга Ростиславовна, дохнув на него туманами пряных духов, и улыбнулась:

– Пройдемте, господа, в столовую.

И Лев Ильич не стал отвечать своему тореадору, впервые пожертвовав принципом ради женщины.

Глава 11 Законный соперник

«Мирись с соперником твоим».
(Еванг. от Матфея, гл.5)

Дневниковые записи Лев Ильич делал еще в эпоху своей никотеро-гарибальдийской эпопеи:

«18 сентября.

С сегодняшнего дня начинаю вести дневник, хотя не обяываю себя быть особенно аккуратным, – записывает он в свободную минуту. – Мысль эту я имел давно и принимался было не раз, но лень ведь свое возьмет. Я, конечно, пишу не для печати, но ведь кто знает».

И сейчас, вернувшись из дворца, занимаемого Скарятинными, в свою скромную сиенскую обитель, Лев Ильич раскрыл тетрадь, в которую он по обычаю заносил свои впечатления, и поставил заголовок: «Скарятин».

И продолжил, не переводя духу: «Не любит молодежи. Как люди, поклоняющиеся кумирам, не блещет веротерпимостью. Гладко выполированный, отчетливо оконченный в мелочах кумир С. – на высоком пьедестале многочисленных *declarations des droits de l'homme*²³ и экономической премудрости – очевидно английского изделия.

Быть полезным – цель его жизни, мерка всему.

Выделяется довольно резко своим положительно практическим направлением, знанием жизни и дела.

Я и С. – две живые противоположности. Целое поколение людей могло бы уместиться в пропасти, разделяющей нас, и все еще не образовался бы мостик. Мы принадлежим к совершенно различным мировым возрастам, к совершенно разным формациям общественного грунта».

И наконец: «О.Р. развилась совершенно под влиянием Владимира Дмитриевича».

Лев Ильич вспомнил локон, соскользнувший в тень между грудей, мерцание и вспышки бериллов. Одного этого кольца ему хватило бы на бес-

печное существование на многия лета, а он – гол как сокол и смеет мечтать об этой женщине... когда время писать отцу в Панасовку, доброго ему здоровья, просить выслать содержание за шесть месяцев вперед, иначе не выжить – долги и квартплата задушат. Что бы он делал без отца, без его благоразумной щедрости, питаемой плодами труда панасовских крепостных? Благодаря этим плодам Лев Ильич смог учиться, существовать в Венеции после дуэли с тем служакой, который показал его карикатуры этому «вешателю колоколов» генералу Мансурову, смог записаться в отряд Никотеры, наконец приобрести белый плащ, спасавший от жары и пыли в боине под Капуйей. И он себя не пожалеет ради панасовских тружеников – части всех эксплуатируемых на земле: разве не за их освобождение он уже сражался, рисковал животом?

Да, но если панасовские мужики получат свободу, что будет присылать Илья Иванович сыну за границу? Какое приданое даст сестре Катерине? На что будет учиться младшенький Илюша, вундеркинд, который за два года осилил четырехлетний курс Харьковского университета? И не труды ли панасовских мужиков и баб в далеком Купянском уезде позволили Льву Ильичу сделать такой красивый жест, как не просить пенсии у итальянской казны, избавив его от нужды вливаться в армию жалких капитанов Копейкиных Средиземноморья?

Это последнее никогда не приходило в голову Льву Ильичу; он громко захлопнул тетрадь, решив не откладывать боле написание письма родителям в незабвенную их Панасовку. Положил перед собой лист и вывел:

«Дорогой мой батюшка Илья Иванович и любезная матушка Эмилия Львовна!»

Он призадумался: как бы так все подать, чтоб у матери не случилось очередного припадка с головной болью, а это чувствительно сказывается на присутствии духа отца?

И как можно деликатнее изложил свою просьбу об авансе полугодичного содержания. В двадцать два года зазорно сидеть на шее у стариков, но что поделывать, ежели своих приисков он не отыскал, а фамильное состояние улетучилось на придворных балах времен родительской молодости. Снова вспомнилась Ольга в бальном платье и драгоценностях: куда же ему даже помышлять о ней? Ей даже иные знатные особы завидуют. Что и понятно: не у всяких знатных в придачу к родовым усадьбам сибирский золотничок имеется. И потом, у Ольги – муж, дочурка. Так

пусть же она и остается с ними. А он... он уйдет в тень. Она его больше не увидит. Он не самоубийца, чтобы искать ее благосклонности. А окончание «Записок» Каткову в Санкт-Петербург и без посредства ее супруга отправит. Дорожка уже проторена. И очень замечательно, что Скарятин его сиенского адреса не знают. Ольга тоже ведь ни разу не поинтересовалась. Что ж; что ни делается, все к лучшему. Это позволит ему исчезнуть из ее поля зрения. И забыть, забыть... чужую жену, хотя она уже и обособилась в его сердце. Выделилась из общей массы женщин. Чем-то до слез близким.

Глава 12

Лично-исторические события

«А нынче все умы в тумане».

(А.С.Пушкин)

При Аспромонте Гарибальди был тяжело ранен, и врачи не могли обнаружить в его теле пулю. Дело шло к общему заражению крови, у постели вождя революции собрались европейские светила медицины, прозвучало страшное слово «ампутировать». Только тогда к раненому позвали русского врача Николая Ивановича Пирогова, собрав на поездку тысячу рублей. К тому времени у Пирогова за плечами была Крымско-турецкая война, а итальянцы воевали против русских. Пирогов в походном госпитале Севастополя совершил пять тысяч хирургических вмешательств. Теперь он читал в Гейдельбергском университете курс для русских специалистов, готовившихся занять кафедры в отечественных университетах. Одним из его слушателей с недавних пор был младший брат Льва Мечникова, Илья, деятельность которого в далеком 1908 году будет отмечена Нобелевской премией по медицине.

Пирогов осмотрел Гарибальди, нашел пулю, можно сказать, голыми руками и извлек ее, не прибегая к скальпелю. Денег «чудесный доктор» не взял. Это был октябрь 1862 г. Нужно ли описывать мину европейских светил?

А герой двух миров, выздоровев, подарил Н.И.Пирогову свою фотографию с надписью и прислал письмо: «Мой дорогой доктор Пирогов! Моя рана почти зажила. Я чувствую потребность поблагодарить Вас за сердечные заботы, которые Вы мне щедро оказывали. Примите, дорогой доктор, мои заверения в преданности. Ваш Д. Гарибальди».

Лев Ильич принял всю эту историю близко к сердцу. Он воевал за Гарибальди, живота не щадил, пролил кровь за его идеи; а брат, его родной брат, в семье последыш, зато в науках первый, слушал лекции Николая Ивановича и был лично с ним знаком. А Пирогов, ай да Пирогов! Итальянцы под Севастополем на стороне англичан воевали, врагами российскими были. Гарибальди еще и враг монархии, самодержавия! А Пирогов приехал и спас его, не побоялся общественного мнения, проявил человеческое милосердие без границ. Впрочем, какое там общественное мнение? Что-то итальянцы не больно шумят об этом. Воды в рот набрали, можно сказать. Ну да все равно Лев Ильич гордился Пироговым и радовался тому, что они заодно, оба послужили делу Гарибальди, делу светлого будущего. И он пишет пламенную статью, посвященную событиям при Аспромонте. Но и на этом Лев Ильич не остановился. Он пошел по стопам Дюма с его «Индипенденте» и волей-неволей Скарятин, редактировавшего консервативный журнал «Весть»: не побоялся налогов и учредил в Сиене свой боевой листок «Фладжелло», что по-итальянски значит, на ваш выбор, «бич, бедствие, наказание». Хотя наверняка – «Бич», ибо Лев Ильич намеревался бичевать всякую социальную несправедливость. И поскольку он готов был вкладывать в свой проект средства, то сразу вокруг него зароились услужливые единомышленники: врач и глава Общества вольных карбонариев А.Аполлоньо, человек из Сиенского комитета по объединению Италии Фортунато Фанелли и др. Собирая материалы для своей газетки, Лев Ильич колесил по Тоскане, этому лакомому кусочку юга Европы: не зря его когда-то облюбовали пришедшие из неразгаданного ниоткуда этруски, обогатившие и без того не бедную культуру хищной Римской империи.

Колесил в ту пору, когда под конскими копытами в лесу и поле цветет светло-лиловый розмарин, побывал в Маремме – совершенно райском уголке Тосканы на Адриатическом взморье. Поездку он описал в статье «Тосканские мареммы» и отправил в журнал «Современник».

Он постоянно отсылал свои труды и в «Русский вестник», и в «Отечественные записки», что – увы – не решало его финансовых проблем. И дела по рангу своим способностям и заслугам, которое приносило бы доход для достойного существования в Италии, Лев Ильич тоже не находил. Вся его журналистская деятельность проводилась на папавские средства, то есть он был сам себе ме-

ценатом и спонсором. Обстановка, что и говорить, невыгодная. И в придачу ко всему на шею висит еще «налог – это средство обогащать богатых»²⁴, налог чуть ли не на воздух, которым дышишь. Странно, что Мечников с его острым умом, воспитанным на сатире Гоголя и примере итальянских Копейкиных, еще не понял, что Италия любит русских богатыми, а попроси у нее эдакую Панасовку, она к тебе спиной поворотится и уходить перестанет.

Именно тогда Лев Ильич познакомился с тем, кого определил как «первосвященника атеизма и анархии», с Михаилом Бакуниным, и у него появилась причина чаще приезжать во Флоренцию. Почти пятидесятилетний Бакунин жил там со своей юной женой Антониной Квятковской. С башмаков этого «первосвященника» еще не слетела пыль сибирских дорог, по которым он бежал с поселений, куда был сослан, напрямик... (хороша же царская охрана) в Лондон, проложив тем путь своему последователю, по крайней мере, в бегстве, Льву Троцкому, беспрепятственно достигшему Дувра прямехонько с сибирской каторги.

На воле, в Лондоне, Бакунина ждали Герцен и Огарев, до конца поверившие в «британской музсы небылцы» (Пушкин), отчего и бредили новым восстанием в Польше.

Бакунин прибыл в Италию, чтобы заручиться поддержкой мечниковского идола – Гарибальди. Вождь революции, только что спасенный Пироговым, встретил Бакунина гостеприимно, но от чести участвовать в восстании отказался под тем предлогом, что поляки его об этом не просят. Общество у Бакунина собиралось совсем другое, чем у Скарятиных. Бывал здесь Николай Ге, написавший, что Бакунин «...производил впечатление большого корабля без мачт, без руля, двигавшегося по ветру, не зная, куда и зачем». Это впечатление было сиюминутным, потому что «корабль» всегда точно ложился на фарватер в том направлении, откуда веяло деньгами. Не зря Лев Ильич в воспоминаниях, опубликованных в газете «Исторический вестник», упоминает о почти «сорока тысячах польского фонда», которые скрылись и никто о них «никакого отчета никому не давал».

Но не всегда в бакунинском доме открытых дверей кипел котел, в котором варилась мировая революция. «Гостиная, – вспоминает Лев Ильич, – убрана по-буржуазному премило. Грозный революционер, в черном сюртуке, которому он, однако, умеет придать живописный, но до неприличия неряшливый вид, мирно играет в ду-

раки со своею Антосею...» Вполне мещанская сцена. Поэтому у человека, подставлявшего себя под пули ради идеалов, за которые и Бакунин должен был бы бороться, сложилось о нем весьма сдержанное впечатление: «флорентийския конспирации... легли каким-то неприятным, несмываемым пятном между нами». Видимо, Лев Ильич денег от него не получил никаких, зато ему пришлось столкнуться в основном с обратной стороной характера громоподобного анархиста, замеченной «неистовым Виссариемом» Белинским: «Признаю чудовищное самолюбие, мелкость в отношении к друзьям, ребячество, лень, недостаток задушевности и нежности, высокое мнение о себе насчет других, желание покорять, властвовать, охоту говорить другим правду и отвращение слушать ее от других». Льву Ильичу даже казалось, что не зря Катков однажды отвесил сему мохнорылому анархисту пару оплеух и вызвал его на дуэль. Вот еще одно, в чем Лев Ильич, пожалуй, сошелся со своим идеологическим противником Катковым. Дуэль эта – старая история, сам Лев Ильич тогда еще ходил пешком под стол, но слух дошел до всех, кто связан с двумя столицами. Банальный сюжет из серии «шерше ля фам», интересную молодую «ля фам», не определившуюся в своих женских желаниях и тем нещадно терзавшую своего мужа Николая Степановича Огарева.

Михаил Катков, в ту пору «правовверный гегельянец», стал завсегдаем в доме Огарева в Москве не только ради вечеров литературного кружка, где собирались Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, Е.Ф. Корш, но и ради супруги его, Марьи Львовны, в девичестве Рославлевой, оценившей его дарование.

Однако А.И. Герцен и с ним Н.Х. Кетчер, о котором И.С. Тургенев сказал:

*Вот еще светило мира,
Кетчер – друг шипучих вин;
Перевел он нам Шекспира
На язык родных осин, –*

не терпели Марью Львовну, опасаясь, что она вырвет супруга из-под их идейного влияния, и претерпевали эдакую бурную «*jealousie de metier*» (жалузи де метье – профессиональную ревность; выражение Л.М.), а Михаил Никифорович, наоборот, всячески поддерживал Марью Львовну, пока, в конце концов, не влюбился в нее без памяти. Роман между Мишей и Машей стал неизбежен. Длился он более года, пока однажды отца «мате-

ри порядка» не угораздило заглянуть в покои Огаревой в тот момент, когда Катков сидел у ее ног, положив голову ей на колени.

Бакунин, спугнувший голубков, тут же ретировался, но о виденном по секрету доложил Герцену, Кетчеру и другим членам кружка. Катков вынужден был порвать с кружком и в июне 1840 года отбыл в Петербург с тем, чтобы следовать далее за границу в надежде замять скандал и исцелить сердечную рану: «Ах, тот скажи любви «конец», кто на три года вдаль уедет».

В городе на Неве он остановился у своего старого знакомого И.И. Панаева. По случайному совпадению здесь же объявился и «генератор всемирной анархии».

– Ну, спасибо же вам, милостивый государь! – низко поклонился ему Михаил Никифорович при встрече, произошедшей на квартире Белинского.

– Давайте фактецы! – возмутился Бакунин.

– Какие вам еще факты! – вскипел Катков. – Вы продавали меня по мелочи, вы подлец, сударь! – И толкнул интригана в грудь.

Бакунин потянулся к палке, и господа схватились, как извозчики. Получив две тяжелых пощечины, отец анархии призвал к порядку, потребовав сатисфакции. Катков не заставлял себя упрашивать:

– Ты, брат Белинский, будешь мне секундантом!

Но Бакунин от поединка уклонился. Предложил драться в Европе, куда отправился в том же июне, а там не оставил адреса. Каткова же на четыре месяца задержало в России безденежье и обещание издателя о гонораре. Он и отбыл в октябре во Францию, денег так и не получив.

История эта напоминала о другом треугольнике в русской литературе: Н.А. Некрасова, И.И. Панаева и жены его А.Я. Панаевой. Но Льву Ильичу она больше напомнила об Ольге Скарятинной, которую он, положа руку на сердце, никогда и не забывал.

Глава 13 Коварный шаг

«И все же трудно воспринять мне ад,
Известный нам под логикою женской.
В ней истин нет, доступных для ума,
Сама пришла ты и ушла сама...»

(А. Кодар)

Из кареты, остановившейся на площади Сиены, вышла молодая элегантно одетая дама, чье лицо скрывала густая вуаль, открыла кружевную парасольку, бросившую на вуаль причудливые тени, и, сделав извозчику знак рукой, чтоб не ждал, направилась к мальчишке, торговавшему газетами. Да и сам он уже бежал ей навстречу. Приобретя у него свежий номер ежедневника, она поинтересовалась, не знает ли он часом, где проживает русский господин с черной бородой, прихрамывающий на одну ногу.

– Леон! – воскликнул мальчишка. – Пойдемте, я провожу сиятельную синьору! О, мадонна, если я да не провожу синьору к моему другу Леону!

Щедро вознаградив мальчишку за любезность, дама долго поднималась по указанной им узкой лестнице, закрыв зонтик и хорошенько придерживая платье. Лестница заканчивалась дверью; дама постучала. Никто не отвечал. Она повернула ручку – не заперто. Приоткрыла дверь и увидела на фоне окна силуэт человека, склонившегося над рукописью. Он резко повернулся:

– Ольга! Чудо! Ты ли это, моя любимая, или мираж измученного сердца?!

У Ольги Ростиславовны была причина, почему она разыскивала Мечникова, но после его слов она поняла, что любая причина будет истолкована как предлог для встречи. Она была измучена холодностью Владимира Дмитриевича, бесконечным церемониалом в их отношениях, преповавшего ей, что такое одиночество вдвоем.

– Я, – попыталась она что-то сказать, – я...

– Не надо, не оправдывайся, – остановил ее Мечников, – ты ни в чем не виновата! А моя любовь сжигает в очистительном огне любые твои угрызения и сомнения. Ты жила как жила, а теперь ты со мной, и у нас будет новая жизнь! Я не отдам тебя ему!

Ольга Ростиславовна лишилась чувств.

* * *

Итак, между ними все было решено. Но как это осуществить на самом деле? Лев Ильич ез-

дил в дом Скарятиных, но его не приняли. Лакей не пустил на порог. Кого посмел не пустить этот «разборчивый холоп»²⁵? Его – наследника румынского престола! Льва Ильича трясло от возмущения. Но и смеялся он сам над собой гоголевским смехом: какой же я, однако, монархический анархист – монархию стараюсь свергнуть и монархом стать стремлюсь.

Попытался подождать Скарятин на улице, но он, завидев гарибальдийца, быстро захлопнул дверцу экипажа и уехал раньше, чем тот успел подойти. Но разве революционера остановишь? Он проник к Ольге Ростиславовне через сад и нашел ее в слезах. После бури эмоций, вылившихся в мольбы, признания, она поведала своему Ромео, что уже объяснилась с Владимиром Дмитриевичем, потребовала своих *les droits de la femme* (прав женщины), а он собирается увозить ее не то в Петербург, не то в Енисейск.

Скарятину не удалось избежать сцен. В конце концов, он отпустил с миром неугомонную супругу свою, заразившуюся вирусом вольнодумства; не стал удерживать при себе и дочь Наденьку, а назначил обеим содержание.

Мечников не ожидал такой легкой победы. Он вспомнил родителей своих и не мог представить, что было бы с отцом, если бы мать вот так покинула бы его, как Ольга Ростиславовна Владимира Дмитриевича. Тогда бы точно не было ни его, ни брата Ильи, а разве его, Левушки Мечникова – вундеркинда, всезнающей планеты, – могло не быть? Он извелся в терзаниях, да и переезды и переустройства требовали массу времени, терпения и, главное, несоразмерных расходов, не покрываемых скарятинским содержанием, так что праздновать победу было как-то не ко двору.

А ко всему, в эти же дни ворвались карабинеры и опечатали редакцию неумолимого «Бича».

Глава 14 Алиби

Жена Цезаря вне подозрений.
Латинская пословица

Едва страсти улеглись, Лев Ильич засел за письменный стол писать объяснительную повесть, чем больно напомнил Ольге Ростиславовне бывшего супруга. Ее он назовет в повести Лизанькой, себя просто Богданом и фамилию даст ему в обратном переводе «мечника» на язык предка (помните Николая Спотаря?) – Спотарен-

ко, Скарятин выведет под именем Сретнева. Но может ли Лев Мечников – гарибальдийский рыцарь без страха и упрека – написать эту скандальную love-story? Самую революционную в его жизни, с которой разве что история Каткова сравнится, когда он бросил перчатку Бакунину, да еще роман Николая Некрасова с Авдотьей Панаевой. Но кто же тогда будет автором?..

И потом нельзя бросить тень на Ольгу Ростиславовну – жена Цезаря вне подозрений. Хотя это тот случай, когда женой Цезаря является версия каждой из сторон.

Да будет автором повести Леон – то есть Лев, и... Brando – в высоком поэтическом стиле наследника великой латыни (сколько же их, этих наследников!) – итальянском, означает МЕЧ! Вот вам и новоиспеченный Лев Мечников – Леон Бранди²⁶. Это – выпад шпагой в маске.

Почему Мечников все время меняет маски? То «М», то «Гарибальдиец», то вот теперь Леон Бранди. Ведь другой Лев – Толстой, никогда не надевал на себя ни одной. А Мечников до сих пор пока ни разу не опубликовался под своим настоящим именем, а своему альтер эго в повести дал угадываемую фамилию-перевертыш. Как будто он ищет себя, свое лицо, но пока только позы, маски и двойственность, ни на минуту не покидающая, рвущая его на две части двойственность...

Он перечитывает свои дневники. Начинает повествование, как Чернышевский «Что делать?», – с интригующей сцены, а уж потом, поймав на крючок внимание читателя, впадает в пространные, ценные для биографа описания. Он признает, не может не признать превосходство соперника. Нет, не над собой, но над своим кругом: «А между тем Николай Сергеевич (т.е. Скарятин), принимая изредка участие в жарких беседах этих (т.е. кружка молодежи вокруг жены), разбивал, как говорится, в пух и прах своею законченною, арифметическою логикою их не совсем отчетливо построенные планы, их мечты. Лизанька (т.е. Скарятин) с ее земфирным видом каждый раз от них становилась больна. Она все больше и больше начинала бояться ума своего мужа, верить в его правоту, в незаконность собственных своих притязаний...» События разворачиваются так, что не может быть и тени сомнения в благородстве обманутого мужа. «Богдан понимал, что Сретнев ставит Лизаньку в положение лаврового венка или премии, которая суждена достаться тому из них двоих, кто выйдет победителем из завязывающегося между ними турнира». Но «премия» выбрала себе победителя сама – она ушла к Богдану: «Я ведь давно знаю, что ни у тебя, ни

у меня нет денег. Я не пятнадцатилетняя девушка... У нас есть роскошь жизни нищего – любовь».

На том и завершил Лев Ильич свою версию случившегося, а устроить очную ставку всем участникам этого треугольника, дабы подвести общий знаменатель правды, сложив воедино версию каждого, не дано. Лев Ильич назвал свою версию «Смелый шаг»; Ольга Ростиславовна, возможно, назвала бы свою «Безумный шаг», а Владимир Скарятин – «Коварный или вероломный».

Повесть из Италии была отправлена в СПб и опубликована в 11 номере журнала «Современник» 1863 г. «Смелый шаг» – ровесник романа «Отцы и дети». И дух эмансипе Кукшиной, уже витающий в воздухе, пусть в более мягкой форме посетил салон и настроения Лизаньки Сретневой, прообразом которой послужила О.Р.Скарятин, ставшая верной спутницей Л.И. Мечникова до конца его жизненного пути на берегах живописного швейцарского озера Невшателя.

Названный по имени отца-озера, небольшой город, который в 2011 году отметил своё первое тысячелетие, на месте поселения культуры Ла Тэн, богат не только университетом, Музеем искусств, но и великолепной набережной. В Муниципальной библиотеке хранятся многочисленные рукописи Руссо, переданные туда его другом Пьером Александром дю Пейру. Естественно, Мечников, получив место в академии этого райского уголка, не стал рваться к родителям в Панасовку Купянского уезда. Да и никто не стал бы, если он не «идиот» князь Мышкин, чей путь в СПб лежал прямым из Швейцарии. Правда, у кн. Мышкина здесь, в древней Хельветии (Коловедии), не было места, а дома ждало неведомое наследство.

Швейцарцы дорожат всем историческим, и в Невшателе много зданий «домечниковской эпохи». Университет – одно из них. Помнят ли о рьяном гарибальдийце его стены или тень его проскользнула и исчезла бесследно? Скорее именно так, ибо стоят здесь бюсты разным деятелям, например, поэтессе и новеллистке Алисе Шамбрье (1861–1882), а вот о Мечникове ни слова. Алиса написала поэму «Атлантида», а за балладу «Спящая красавица» получила премию Академии Цветочных игр в Тулузе, известность ей принёс поэтический сборник «По ту сторону».

Л.И. Мечников был забыт при жизни. Но в бархатном климате вечного отпуска он расслабился, отдохнул душой и, возможно, прожил чуть-чуть дольше предначертанного.

Послесловие

9 января 1865 г. Ольга Ростиславовна с дочерью отбывала на поезде из Милана в соседнюю Швейцарию, колыбель революций, куда в целях безопасности перебрался Лев Ильич после того, как опечатали редакцию «Фладжелло». Провожал супругу экс-гарибальдийца Ф.Фанелли. Дальнейшая жизнь Льва Ильича была не менее пестрой и полной приключений, но это уже были не приключения революционной романтики – она отошла на второй и со временем на третий план, а были это приключения пассивной науки. Лев Ильич достигает берегов Страны Восходящего Солнца, осваивает ее язык и пишет книгу по ее истории; и уже в «Мэй-дзи – эре просвещения Японии» пророчески произносит слово, роковое для будущего, – Цусима. А «Японская империя», написанная по-французски, будет опубликована в Женеве в 1881 г. с искусными рисунками автора и начерченной им собственноручно географической картой. Но пьедестал в современной геополитике завоюет ему главное его сочинение «La civilisation et les grands fleuves historiques» («Цивилизация и великие исторические реки»), тоже написанное по-французски. Эти труды он уже печатает под своим подлинным именем, ибо к тому времени обрёл свое истинное лицо.

Богата и сфера личного общения Льва Ильича. Приветит его у себя в Швейцарии на кафедре Невшательской академии видный географ, социолог Жан-Жак Элизе Реклю (1830 – 1905), как и Мечников, неугомонный революционер, искатель социальной справедливости, успешный побывать если не в гарибальдийских рядах, то на баррикадах Парижской коммуны. Кроме того, он побывал почти во всех странах так называемого цивилизованного мира, начиная с Европы и кончая отдаленными уголками Америки, Африки и Азии. Он хотел написать «Всеобщую географию» планеты, но посетить для этого все страны в то бессамолётное время было выше сил одного человека. Поэтому Реклю был вынужден прибегать к помощи других лиц. Одним из таких помощников и стал Л.И.Мечников. Однако составление географии России Реклю поручил кн. П.А. Кропоткину, тоже заядлому путешественнику.

Реклю был чрезвычайно популярен и в Российской империи: в новелле «Полок» из повести Ивана Созонтовича Лукаша (1892–1942) книголюб, банщик говорит Достоевскому: «Намед-

ни очень занятную книгу читал, про Америку, господина Раклю сочинение»²⁷. Из чего напрашивается вывод, что книги Элизе Реклю были переведены на русский язык и пользовались популярностью у книголюбов из народа. Достоевский, согласно новелле И.С. Лукаша, с ней знаком не был.

Н. В. Скарятин (Кончевская), дочь Ольги Ростиславовны Скарятиной, будет секретаршей отца и после его смерти. Ольга Ростиславовна по просьбе друга семьи кн. П.А. Кропоткина возьмется писать записки о своем Леве, да, набросав сумбурным почерком несколько страниц, оборвет их на полуслове. И ни в одном итальянском архиве не сохранится ни экземпляра его листка «Фладжелло». По крайней мере, в результате наших кропотливых, но все-таки невездесущих поисков при содействии штатных архивистов разыскать оно не удалось.

«Записки гарибальдийца» впервые переведены на итальянский язык известными русистами Ренато и Роберто Рисалити по случаю 200-летия «героя двух миров» Гарибальди и выпущены скромной брошюрой во Флоренции в 2007 г. в Centro Stampa «Toscana Nuova 2».

Показательно, что, занимаясь революционной деятельностью, Лев Мечников из скромных средств своей семьи, жившей под Купянском трудами крестьян, выделял сумму на организацию кровавого теракта против императора Александра II в 1881 г., а когда он сам ушел из жизни, идейные преемники не пожертвовали ни гроша ему на похороны, и останки его нашли приют в общей яме на кладбище Невшателя.

Хронология основных событий жизни Л.И. Мечникова:

1838 – 18 (30) мая родился в СПб в старинной дворянской семье

1850 – посещение Петербургского училища правоведения

1852 – болезнь и отъезд в Харьковскую губернию

1855 – семь месяцев в Харьковском университете на медицинском факультете

1856–1858 – учеба в Петербургском университете на факультете восточных языков, арабско-персидско-турецко-татарское отделение

1859 – переход на физико-математический факультет того же университета и получение звания кандидата естественных наук

1859 – работа в Одессе в «Русском обществе пароходства и торговли», откуда он попадает в миссию ген. Б. Мансурова, отправляющуюся на Ближний Восток, Афон

1860 – высадка в Венеции, запись в отряд Дж. Никотера

1860 – сражался в гарибальдийской «Тысяче» и тяжело ранен в битве при Вольтурно; выздоровление в Неаполе

1861 – переезд в Сиену, знакомство со Скарятинными, сочинение и публикация «Записок гарибальдийца»

1862 – женитьба на О.Р. Скарятиной

1864 – отъезд семьи в Женеву

1874 – отъезд в Японию, преподавание на русском отделении Токийской школы иностранных языков, освоение японского языка

1876 – оставляет Японию из-за влажного климата

1881 – выходит его книга «Японская империя»

1883 – возглавил кафедру сравнительной географии и статистики в Невшательской академии в Швейцарии

1885–1887 – читал курс и писал главное свое научное сочинение «Цивилизация и великие исторические реки»

30 июня 1888 – скончался в Швейцарии (Невшатель).

Библиография

Арсеньев В.К. «По Уссурийскому краю. Дерсу Узала», изд. «Правда», Москва, 1983.

Boccardi «Profili. Piero Troubetzkoy», estratto della rivista «Verbania», №.12, anno 1911, Intra, Tipo-litografia Almasio.

Афанасьев А.Н. «Поэтические воззрения славян на природу», т. 3, изд. «Современный писатель», Москва, 1995.

Белоусов И. А. «Ушедшая Москва», «Русский миръ. Вече», Москва, 1998.

Бранди Леон. «Смелый шаг», «Современник», №11, СПб. 1863.

Вагнер Б.Б. «От южных гор до северных морей», изд. «Московский лицей», Москва 2002.

Вандам Е. А. «Геополитика и геостратегия», изд. «Кучково поле», Жуковский-Москва, 2002.

Василенко И.А. «Геополитика», «Логос», Москва, 2003.

Городецкий Д.М. «Зарождение карикатуры в России» из Сборника статей по истории и статистике русской периодической печати 1703-1903 гг., изд. Русского Библиологического общества, СПб, 1903.

Гудзь-Марков А.В «Индоевропейцы Евразии и славяне», «Вече», Москва, 2004.

Дорошевич В. «Каторга-3», изд. Захаров, Москва, 2001.

Dumas A. «Indipendente», №. 83 (19/01) 1861, Naples.

«Исторический вестник», журнал, март, 1897 г.

Катков М.Н. «Имперское слово», изд. журнала «Москва», 2002, составитель М.Б. Смолин.

Колосов В.А. и Мироненко Н.С. «Геополитика и политическая география», «Аспект Пресс», Москва, 2002.

Константинов В.Н. «Российский социолог Лев Мечников», Научное издание, Владимир, 1994.

Кропоткин П.А. «Записки революционера», изд. «Мысль», Москва, 1990.

Кропоткин П.А. «Идеалы и действительность в русской литературе», изд. «Сеятель», Буэнос-Айрес, 1955.

Крупнов Ю.В. «Россия между Востоком и Западом. Курс Норд-Ост.», СПб, Изд. Дом «Нева», 2004.

Мечников Л. И. «Записки гарибальдийца», журнал «Русский вестник», № 9, 10, 11 СПб, 1861.

Мечникова О.И. «Жизнь Ильи Ильича Мечникова», Государственное издательство, 1926.

Любимов Н. А. «М.Н. Катков и его историческая заслуга», изд. «Общественная польза», СПб, 1989.

Мечников Л.И. «Цивилизация и великие исторические реки», издание редакции журнала «Жизнь», СПб, 1898.

Мечников Л.И. «Мэй-дзи. Эра просвещения Японии», Типо-Литография Округнаго Штаба, Казань, 1905.

Муромов И.А. «Сто великих путешественников», изд. «Вече», Москва, 1999.

Нартов Н.А. «Геополитика», изд. политической литературы «Юнити. Единство», Москва, 2003.

Потапова З.М. «Русско-итальянские литературные связи. Вторая половина XIX века», изд. «Наука», Москва, 1973.

Пикуль В.С. «Каторга. Богатство», изд. Вече – АСТ, Москва, 2001.

Скарятин В.Д. «Записки золотопромышленника», типография П.А. Кулиша, СПб, 1862.

«Современная летопись», газета, №21,25,30,39, СПб, 1861 (авторы А.Веселовский, Л. Мечников, В.Скарятин, Н.Щербина).

Составитель изд. «Граница», «Картины былого Тихого Дона», Москва, 1992, том 1,2.

Risaliti R. «Russi a Firenze e Toscana», vol. I, F.Brancato ed., Firenze, 1992.

Stendhal «Rome, Naples et Florence», Ed. Gallimard, France, 1987.

Теплинская М. «Русская журналистика в литературном процессе второй половины XIX в.» из Сборника научных трудов, Пермь, 1980.

«Человек без границ», журнал, № 5, Москва, 2010, «Пирогов. Чудесный доктор», авторы Т. Роменская, И. Барабаш.

Чернявский М.П. «Генеалогія господъ дворянь, внесенныхъ въ родословную Тверской губерніи съ 1787 по 1869 годъ», рукописный фолиант в ГПИБ.

Чехов А. П. «Остров Сахалин», Собрание сочинений, т. 8, изд. «Правда», Москва, 1970.

Все иллюстрации к повести из фондов ГАРФа, дело 6753, Москва.

А также проконсультированы сайты в Интернете: www.hrono.ru www.peoples.ru www.jewish.ru www.dumaspere.com www.rulex.ru www.kuban.ru и др.

Примечания

- ¹ «Да, сладко и красиво умереть за отечество» (лат.).
- ² «В штыки, за Италию» (ит.).
- ³ Гудзь-Марков А.В. «История Российской почты. 300 лет Московскому почтамту. 1711-2011», изд. «Граница», Москва, 2011. С. 108.
- ⁴ Спафарь – сабля, меч (греч.). Греческая «фита» имеет двоечтение, отсюда Федор и Теодор, Фекла и Текла, Марта и Марфа, Спотарь и Спафарь.
- ⁵ Не он ли прародитель известного иронического киножурнала Грачевского о подростках?
- ⁶ «О, святой дьяволище» (ит.).
- ⁷ Настойка на ста травах.
- ⁸ «Независимая» (ит.).
- ⁹ «Без гнева и пристрастия» (лат.). Девиз «Независимой газеты», выходящей в Москве.
- ¹⁰ Замечательно! (фр.).
- ¹¹ Пожалуйста (фр.).
- ¹² Благородство обязывает (фр.).
- ¹³ «Да здравствует Италия, да здравствует король» (ит.).
- ¹⁴ Павел Петрович Трубецкой (1836–1917, Плоты под Одессой) – доброволец в австрийской кампании Гарибальди.

- ¹⁵ Вандам Е.А. «Геополитика и геостратегия», изд. «Кучково поле», Жуковский – Москва, 2002. С.94.
- ¹⁶ «Подайте, синьор, хоть что-нибудь» (ит.).
- ¹⁷ Были еще исследования Максимова «Год на севере», «Сибирь и каторга», рассказы Наумова из Тобольска и беллетристов-народников, но это все позже.
- ¹⁸ Пучки, связки, снопы (ит.).
- ¹⁹ В 2010 г. в Италии насчитывается 55 млн жителей.
- ²⁰ Напоказ (ит.).
- ²¹ Орфография Мечникова.
- ²² Тоже.
- ²³ Деклараций о правах человека (фр.).
- ²⁴ Определение кн. П. А. Кропоткина.
- ²⁵ Из А.С. Пушкина.
- ²⁶ К этому же методу в XX в. обратился Б.Кампов: перевел свою фамилию, но уже на русский, и стал Б. Полевым.
- ²⁷ Лукаш И.С. «Пожар Москвы». Интелвак. М., 2007. С. 529.

Маргарита Станиславовна СОСНИЦКАЯ

родилась в Луганской обл. Украинской ССР.

Окончила Литературный институт им. А.М. Горького.

Поэт, прозаик, публицист, переводчик.

Автор поэтических книг «Опиум отечества»,

«Молоко Жарь птицы», «Молчание Кассандры»;

книг прозы, в числе которых роман «София и жизнь» (2003), сборники

«Чётки фортуны» (2008), «Записки на обочине»,

«Трава под снегом», «Книга Притч» (2002, 2004 и 2008),

двух книг «Сказки нашего времени»

(2016; 2019 – совм. с Е.М. Глазковой),

а также сборника хайку «Стихи на веере», азбуки сюжетных

и психологических архетипов «Ход куклой» и пр.

Публиковалась в журналах «Юность», «Север», «Дон»,

«Культурное наследие России» и др.,

в альманахах и коллективных сборниках.

На фестивале «Золотой витязь» (2016) отмечена Бронзовым витязем, удостоена премии II степени в номинации «Драматургия» на фестивале

«Интеллектуальный сезон» (2019, г. Саки).

Член Союза писателей России.

